

ПОТОК ЖИЗНИ

Глава 1

У Серафима Павловича было ощущение, что он задумал и пишет свою последнюю книгу. Не болел он, и ему не был объявлен роковой диагноз. Жизнь, однако, иссякала, словно высачивалась, как горная усталость, из кончиков пальцев в траву, в землю. И книга эта, итоговая по своему стержню, должна была вобрать в себя его мировосприятие, неодинаковое в разные годы, а заодно и всю его жизнь, самое существенное из того, что отложилось в памяти. Того же, что прошло и из памяти улетучилось, выветрилось, стерлось, уже не возвратишь, а такого было во много раз больше.

«Наша память так избирательна и, в сущности, не емка, - думал он, поводя плечами от шороха дождя за окном. – Правда, у нее есть одно замечательное свойство. Если в нее углубляться старательно и долго, она странным образом расширяется, и одно, и другое, и третье возникает из небытия – словно новые миры рождаются в космосе».

Он сидел в офисе, в научно-техническом центре «Универсал», созданном стараниями его супруги Валерии и имевшем статус малого предприятия, или общества с ограниченной ответственностью. И рядом с ним не было никого – просто прекрасно! Время пахло новогодней елкой. Через сутки Земля открывала счет году 1994, году неведомому, неласковому, как обветшавшая тропа, и все-таки желанному. Хотя, желанен он или нет, он все равно придет и пройдет и принесет с собой все то, что должен принести, что природа заложила в его генетический код. Но праздничной приподнятости Серафим Павлович не чувствовал, не было ее, и все. Ее не было уже очень давно, чуть ли не с юношеских беззаботных лет, когда праздники праздновались с размахом, с упоением, когда сердце тянулось к друзьям, и отец еще был жив, и мать приветливо улыбалась его товарищам, и было им, отцу и матери, меньше лет, чем ему сейчас. И отец, и мать казались вечными, бессмертными – почему? Да, было и такое время когда-то, но потом оно стало жестче, а после пересечения экватора и вовсе похолодало, и теперь впереди простиралось серое и холодное пространство, равнодушно-враждебное, ненасытимое. Оно выхватывало и прятало в небытие одного за другим его друзей и близких. У отца под конец жизни тоже не осталось друзей, все они ушли раньше. Это, наверное, особый род одиночества – одиночество стареющего человека.

Месяц назад Серафим Павлович проводил в последний путь Светослава Благова, журналиста с изобразительным даром величайшей силы, редчайшей силы, так и не востребованного обществом. А позавчера похоронил – кто бы мог предположить такое! – Алика Танхельсона. Александра Григорьевича Танхельсона, прекрасного публициста, который удивлял всех еще и тем, что жил по совести и справедливости и от других ожидал того же.

Светослава Благова, неповторимого, неподражаемого и светоносного – сначала оглоушил инсульт, и пятнадцать постинсультных лет он влачил жалкое существование, ковылял с палочкой по любимой улице Карла Маркса, по скверу, по Жуковской, что-то мыча в ответ на приветствия. А потом его убили на пороге собственной квартиры. Убили ударом кастета по голове. Подошли сзади и ударили, просто так, ведь нельзя принимать в расчет нищенскую пенсию, которую у него забрали, когда он упал на бетонную площадку перед своей дверью. Светославу Благову Серафим Павлович посвятил маленькую повесть «Один», нигде пока не опубликованную и никем пока не прочитанную. Что-то интересное от этого человека в повести, несомненно, осталось. И слава Богу!

Александра Григорьевича тоже поверг инсульт, но сразу, безжалостно (или милосердно?), не оставив шанса на инвалидное существование. Инсульт обрушился на него, когда он возвращался с работы домой, и он, скорчившись и отключившись, просидел ночь в чужом подъезде при минусовой температуре, а утром его забрала «скорая». Днем его, наконец, отыскала в реанимации неотложки жена Мара Абрамовна. Двое суток он еще дышал, а потом его отвезли в город мертвых под названием Дамрабадское кладбище. Жалко было правдолюбца Александра Григорьевича, очень жалко. «Сурово обходится с нами жизнь, - сказал себе Серафим Павлович. – Но так она обходится со всеми. И только к редким своим любимчикам, к редким своим исключениям она благосклонна. Увы, я и здесь не избранник судьбы, я и здесь - как все».

Да, среди его родных, друзей и знакомых баловней судьбы не было. Не мог он отнести к их числу и себя, хотя жизнь достаточно часто была щедра к нему, достаточно часто приводила к поставленной им цели. Как много людей, дорогих и близких, с которыми ему было хорошо, уже по ту сторону черты! Как много! Он стал считать, называя имена, фамилии, вспоминая лица, привычки. Сто миров уже это было, сто судеб с двумя датами – как на кладбищенских памятниках.

Серафим Павлович не жаловал слякотную, серую, скучную ташкентскую зиму. То снег лег, то растаял, ни мороза настоящего, ядреного, ни тепла. Черт знает что в черт знает какой пропорции. Нет, такая погода его не устраивала, она подчеркивала бренность существования. Но еще больше его не устраивали разброд и шатание в огромной стране, которая некогда именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, а теперь развалилась, самораспустилась на пятнадцать национальных квартир, каждая, даже совсем крошечная, со своими дверями, запорами и замками в виде границ, таможен и собственных валют.

Оказавшись в суверенном Узбекистане, Серафим Павлович и Валерия жили интересами России, хотя пока еще не стали ее гражданами. Они всю жизнь проработали на Узбекистан, но далее утруждать себя этим не собирались, и не только потому, что Серафима Павловича жестоко убрали из журнала, а она еще раньше потеряла всякий интерес к государственной службе, а потому, что два потока жизни, мусульманский и христианский, вели себя как несмешивающиеся жидкости, как вода и масло, и у каждого из этих потоков было свое направление движения, заданное давным-давно и контролируемое Кораном и Библией.

Он не мог утверждать, что узбеки хуже русских. Не мог он утверждать и обратного – что узбеки лучше русских. Просто они были другие, совсем другие. И жизнь их была совсем другой, изначально другой. Как жизнь китайцев или японцев. Другое мироощущение, иные традиции и обычаи. В этом была историческая заданность, историческая предопределенность. И не нужно, чтобы Россия снова отдавала сюда свои соки, снова отрывала от себя ради восстановления братства бывших советских народов. Тем более что президент Республики Узбекистан Ислам Каримов одержим манией величия и обещает привести Узбекистан к великому будущему, естественно, под своим мудрым руководством. Лавры эмира Тимура не дают ему покоя. Эмир Тимур, конечно, был фигурой исключительной, вершителем судеб народных. Но сегодня величие к народам приходит только через труд, через его количество и качество. Туркестан, присоединенный к России, был нищим, отсталым краем, где время замерло на феодальном средневековье. Царь-батюшка вложил в развитие края 51 миллиард рублей золотом, а вывоз товаров на 27 миллиардов. Сейчас это называют колониальным ограблением народа.

Советский Союз ежегодно предоставлял Узбекской ССР двухмиллиардную дотацию – о ней теперь не упоминают ни при какой погоде. И финансировал значительную часть капитальных вложений. Это тоже замалчивалось. Теперь, Серафим Павлович чувствовал это, Россия хотела от Узбекистана, чтобы он оставался в фарватере ее внешней политики, а Узбекистан этому противился. Как противился он двойному гражданству и приданию русскому языку статуса второго государственного. Деньги туда-сюда перетекать перестали, экономические связи разрушились – как оборвались. Но поезда в Москву еще ходили, переполненные «челноками» – мелкими торговцами. Год назад Серафим Павлович привез из Москвы утюги и заработал на этой операции двадцать тысяч. Понятнее, однако, будет сказать, что он удвоил сумму, уплаченную за утюги в Москве. В этот раз он привез ленты для пишущих машинок. На них можно было заработать, в пересчете на рыбные консервы, один к десяти, а в пересчете на колбасу и водку, один к двум.

Угрызений совести он не испытывал, он хотел и дальше оставаться на плаву. И только. Аппетит не пришел к нему во время еды, побуждений с головой окунуться в море коммерции не возникало. По-прежнему это было чуждое ему море. В уходящем году он очень мало зарабатывал и ограничивал себя почти во всем, и если прежде у него всегда был какой-то неприкосновенный запас на какой-нибудь трагический случай, то теперь у него не было неприкосновенного запаса.

«Мы теперь – ближе зарубежье! – со злостью подумал Серафим Павлович. – Вот, свалилось на нашу голову! Закономерно ли все это? Наверное, раз сами постарались». Нежданно-негаданно его оппоненты-националисты (или патриоты?) по союзу писателей получили независимость, как щедрый дар Аллаха. На блюде с голубой каемочкой, без усилий и борьбы. Дар судьбы, неожиданный и щедрый, повторил он. Что будет дальше? И не благо ли это для России, которая впервые за последние семьдесят лет могла заботиться только о себе? Русские уезжали достаточно дружно, но это не было бегством. Быстрее русских уезжали евреи, и это прямо указывало на неблагополучие и плохие перспективы. Узбекистан пока во многом оставался заповедником социализма. Но по части коррупции, по части чиновничьего рукоприкладства к собственности государственной и частной, по части чиновничьего беспредела мог, наверное, претендовать на мировое первенство и на запись об этом своем достижении в книге рекордов Гинеса. Ненасытны. Неудержимы в своих притязаниях были местные чиновники.

Президент же заверял мировую общественность, что в его стране нет нарушений прав человека, и его поданные с ним не спорили. Дети Серафима Павловича, Елена и Петр, не стали жить в Узбекистане. Их не влекла перспектива быть белым обслуживающим персоналом. Елена и Андрей, ее муж, месяц назад перелетели через океан и сейчас обитали в городе желтого дьявола Нью-Йорке. Как они там? Ни письма, ни звонка. Но дошли косвенные данные, через родственников родителей Андрея, что у молодых все в порядке, что Андрей работает в той же фирме, в какой работал в Москве, но уже за более высокую зарплату, а Елена ходит на курсы английского языка и будет подтверждать, посредством сдачи экзаменов, свой диплом

врача, выданный Московской медицинской академией. Пока они жили у тети Иды, но скоро снимут квартиру.

Это было нормальное начало. Андрей давно показал себя человеком дела, и Елена тоже была прекрасно подготовлена к жизни за океаном. И профессионально, и нравственно они оба хорошо подготовились к встрече с Америкой. Серафим Павлович спросил себя, хотел ли бы он к ним присоединиться. Нет, таким желанием он не горел. Оно в нем даже не шевелилось. В России тоже, он знал, не ждали ни его, ни Валерию. То есть, сын был бы рад, если бы они приехали, но где им жить? И что делать, как зарабатывать на жизнь? Самоутверждаться, когда тебе под шестьдесят, не так приятно, чем когда ты выходишь из институтских ворот.

Итак, ни привета, ни слова из далекого Нью-Йорка, гигантского города на той стороне Земли. Но придет скоро и привет, и доброе слово.

Жизнь, как она есть, от лучезарного детства до сегодняшнего пасмурного дня. Не на многое ли он замахнулся? В магазинах пусто, и все страшно дорого: инфляция. Маятник их достатка качнулся влево, из людей с неплохим жизненным уровнем они переместились в категорию малоимущих. Держатся на плаву – ну, и слава Богу. Большим миллионы им не светят, издательское дело перестало давать прибыль. Да и книги печатаются сейчас какие-то не те, мир человека суживается в них до противостояния убийцы и его преследователя-сыщика. Жизненный опыт его и Валерии, их высокий профессионализм остается невостребованным. Они пошли – кто мы мог предположить! – на печатание визиток, бланков, пригласительных билетов! Это его нисколько не интересовало, но он занимался и этим, чтобы выжить и не кланяться чиновникам, вынудившим его уйти из журнала.

Еще он писал книгу о строителях Туполангского водохранилища. Книга эта тоже была ему не интересна. Еще он обрабатывал свою землю на даче близ Паркента и на даче близ Газалкента и получал, помимо урожая, большое моральное удовлетворение. Земля его не обманывала. Она отзывалась на труд и заботу и подпитывала его своими соками. Словно и он был деревом, растущим на ней. Повесть «Слепок», последняя из его книг, только что оконченная и перепечатанная на машинке, пока никому не была предложена. Пусть полежит немного. Пожалуй, он сначала покажет ее российскому послу и послушает его отзыв. Вообще же, его книги не выходят уже четыре года. Ничего такого давно уже не предвидится. Не вышла даже «Периферия», набранная в Симферополе. Ее выходу помешал распад Союза и связанное с ним угасание производства. Главное, он относится к этому совершенно спокойно. Ни холодно ему от этого, ни грустно. Словно писать книги не его призвание. И то, от чего когда-то трепетно и сладко сжималось сердце – первая газетная публикация в десять строчек, первая пусть тонкая книга – все это уже было, уже пережито. Или воля к жизни у него теперь не та, не прежняя? Желания не исполняются без напряжения воли. Сначала надо сильно захотеть. Сильно-сильно. «Сначала добиваешься, а потом – нет, - вспомнил он. – Потом привыкаешь. Только к горам я не привык, и к своей земле. И к своим детям. И к Валерии. Да, радуется лишь то, к чему не привыкаешь».

Но он не привык не только к тому, что перечислил. Он не привык к играм политиков, к их видимым и невидимым ходам. Он не привык к друзьям своим, которые продолжали его радовать. А сколько случалось «и вдруг», к которым невозможно привыкнуть! Эти бесконечные «и вдруг» выплескивались с экрана телевизора и со страниц газет, и при общении с людьми знакомыми и незнакомыми. Самой сутью жизнь были эти милые «и вдруг». Без них жизнь стала бы пресной и неувидительной. Нет, очень много было вокруг такого, к чему нельзя привыкнуть. И жалко, жалко будет, если эти «и вдруг» для него кончатся.

«Прослежу свою жизнь», - подумал он. От некоторых ее страниц он счел бы за лучшее отказаться. Но, к счастью, большинство ее страниц не падало в цене. И он был рад вспомнить, как он жил среди людей, и кто из них стал ему близок, и чего он добился, а что так и осталось за пределами возможного. Теперь его все более занимали и успехи детей, давно самостоятельных; у них все было свое, они мало в чем его повторяли. Ни дочери, ни сын не продолжали его дело. Но были плотью от плоти его и кровью от крови его – наконец, он это ощутил в полной мере. И это означало нечто большее, чем простое продолжение его дела. Это означало продолжение его сути.

Пристальное и пристрастное разглядывание минувшего – приятное ли это занятие? Нужное ли? Не звоночек ли это о близком уходе, поданный свыше? Позади столько всего осталось, что можно и заплутаться. Но еще легче заблудиться, когда пробуешь заглянуть в будущее. Он не провидец, как один из его знакомых, Евгений Ефимович Березиков. Космическая субстанция не одаривает его своим вниманием, и информационное кольцо Большого Космоса закрыто для него. Вместо умения предвидеть в нем жила, никогда не тускнея, вера в завтрашний день: завтра ему и его близким будет лучше. Год за годом с младенческих лет ему внушали, что советская власть – самая гуманная и самая хорошая, а социалистическая система – лучшая из общественно-политических систем, известных человечеству.

Пятнадцать лет это делали школьные учителя и институтские преподаватели и постоянно – радио, газеты, телевидение, книги.

Действительно, жизнь со временем становилась лучше, ведь точкой отсчета для него были годы войны. Но надеялся-то он на большее. Нет, жизнь не стояла на месте. После войны для его семьи великим благом было получение отдельной квартиры. Две свои комнаты по улице Буденного, дом № 78, между базарами Госпитальным и Тезиковым, после пяти лет мыкания по старгородским кибиткам перевели жизнь семьи на качественно новый уровень. Теперь у него и Валерии четыре комнаты на двоих, птенцы-то выпорхнули из гнезда. Но полвека назад верхом везения были две просторные комнаты в сырцовом доме на восемь квартир, построенном до революции. Ручку колодезного ворота довелось ему покрутить. «Керосин! Керосин!» – обрушивал на их тихую улицу пронзительные завывания продавец керосина, а позади него плелись лошади и ехала телега с железной бочкой, в которой плескался керосин. Примус и керогаз – эти нехитрые бытовые приборы теперь встретишь разве что где-нибудь на отгонных пастбищах или раскопаешь в пыльном чердачном хламе. Сколько угля он перетаскал, сколько саксаула переколот, насыщая огнеупорное нутро голландской печки? И как прекрасна была эта печь, уютно гудевшая после растопки! Как приятно было встать подле нее, прислониться спиной к черной жести кожуха и вбирать, вбирать блаженное тепло!

Но уже давно ему не нужны ни керосин, ни уголь с дровами. Да, жизнь в его стране, где в 1917 году победила социалистическая революция, не стояла на месте. Но парадокс заключался в том, что в тех странах, где оставался капиталистический строй, отживший свое и в своей сущности антинародный (так объясняла его марксистско-ленинская теория), люди полнее реализовывали свои способности и лучше жили, богаче жили. И эти страны не только не позволяли обойти себя его стране, которая была так революционна и так пеклась о своем народе и о благе всего прогрессивного человечества, а все быстрее уходили вперед, все дальше отрывались от его страны. Это и определило исчезновение СССР с политической карты мира.

Несколько лет демократии – и Советского Союза, великого и могучего, не стало. Все правильно. Система, которая перестала приращиваться, которая окостенела в своем консерватизме и невосприимчива к новшествам, обречена. Серафим Павлович не хотел распада великой страны (слава Богу, отец не стал свидетелем всего этого!). Он страстно хотел ее трансформации, хотя бы по образу и подобию китайских реформ. Прежде, чем попасть в Москву, ему теперь дважды приходилось пересекать государственные границы, правда, пока не оборудованные таможенными постами. Вот с этим он никак не мог примириться. Прежде его раздражало, что все сколько-нибудь важные решения по Узбекистану принимались в Москве. Теперь его раздражала картина прямо противоположная. Москва, по его представлению, мало влияла на события в Узбекистане. Утратив былые рычаги влияния, она не создавала новых, основанных на принципах равноправия.

Он вновь вернулся мыслью к тому, с чего начал. Сколько же ему осталось, опять спросил он себя. Еще недавно он не задавал себе такого вопроса. Теперь и он ощутил конечность жизненного пути, выпавшего на его долю. Экватор пересечен, и давно, давно. Холодные воды были впереди, и сырые туманы, и айсберги с обманчиво маленькими белыми головками над сонной водой. Его сверстники вдруг падали на бегу, и житейское море тотчас смыкалось над ними, и через какое-то время только самые близкие еще вспоминали их...

Наиболее часто он видел перед глазами: бурную реку, сбегаящую с гор, и лес по ее берегам, и горные хребты за лесом, подернутые дымкой, и блики солнца в плотных зеленых кронах – кроны медленно шевелятся, словно дышат полной грудью; синюю спокойную безбрежную воду и острый стальной форштевень, ее вспарывающий; артиллерийское орудие на высоком холме, которое выстреливало смертоносный снаряд неизвестно в кого; самолет в черном небе, тоже со смертоносным грузом под крыльями; остров в теплом море, вполне экзотический. И себя на этом острове, и палатку под пальмами, и костер, и заходящее солнце; яблоню в своем саду, усыпанную плодами; жену Валерию; детей своих, таких разных, с робко намеченными судьбами, и внуков, которых пока было трое; друзей, которые старели вместе с ним и с которыми ему всегда было хорошо; себя самого – с самим собой ему тоже редко когда было скучно.

Еще он видел земной шар, и разные страны на материках, освещенных солнцем, и народы, которые никак не могли научиться считать себя частью человечества. И мать он видел, и отца – в минуты, когда его почтенные родители были молоды, красивы и счастливы, и друзей, которые ушли раньше или позже. Да, человек уходил, как только истекал положенный ему срок. Незримая ЭВМ считывала с незримых скрижалей, и мчался сигнал, и свершалось неизбежное: рядом с датой рождения появлялась еще одна дата, последняя. Ничего не помогало: ни медицина, ни воздержание, ни обращение за помощью к силам иррациональным, так будоражающим человеческое воображение. Все умещалось в срок между двумя датами, выбитыми на каждом кладбищенском обелиске.

«Продолжение следует, - сказал себе Серафим Павлович. – Из того, что я видел и вижу, и будет состоять эта книга. Только последняя ли она?»

Глава 2

Раннее детство прорисовывалось смутно-смутно. Серафим Павлович подумал, что дымка времени – не химера. Уходят поколения, но остаются документы. Скрижали. Он вспомнил, как долго в их отделе промышленности лежала полугодовая подшивка «Правды Востока» за 1926 год, принесенная из библиотеки, кажется, Светославом Благовым. Назад относить он ее не стал. И не лень это была, ему, кстати, свойственная, а живой интерес к давно минувшему, к жизни совсем не такой, как сегодняшняя, совсем не такой. Серафим Павлович нашел в этой пожелтевшей, ломкой подшивке бездну любопытного. И Троцкий Лев Григорьевич еще был в чести, и Бухарин с Зиновьевым давали оценку текущему моменту. И Сталин Иосиф Виссарионович, пока еще не отец народов и не генералиссимус, присутствовал на первой полосе наравне с другими членами ЦК, несколько их не затмевая. А, главное, новая экономическая политика разворачивалась, возвращался дух предпринимательства, подорванный гражданской войной и военным коммунизмом, и реклама назойливо перло в глаза. Под нее отводилась вся четвертая полоса, а часто и половина третьей.

Рекламировались: всевозможные товары, от тканей и пилолеса до бумаги, обуви и керосина; всевозможные виды услуг, от возведения индивидуальных домов по проектам лучших архитекторов Ташкента и пошива на заказ мужской и дамской одежды до обучения иностранным языкам и лечения венерических болезней. Акционерные общества публиковали свои балансы и предлагали свои акции. Журналисты чувствовали себя куда свободнее и раскованнее, чем в годы развитого социализма. Уже был достигнут и превзойден довоенный уровень промышленного производства – это после всех потерь и утрат семилетней войны! И страна ускоряла свое движение к светлому будущему, начертанному основоположниками научного коммунизма. Не совсем, правда, так она двигалась вперед, как ей было определено усопшим вождем мирового пролетариата, а через инициативу проклятого частника. Но скоро, скоро уже всеобщая коллективизация с ликвидацией кулачества как класса и первая пятилетка, пятилетка индустриализации, изменят направление и скорость этого движения, а соратники Сталина по партии один за другим перейдут в категорию врагов народа, и свет прожекторов сосредоточится на мудром вожде, высвечивая каждый его шаг и каждое его слово вплоть до рокового инсульта 3 марта 1953 года.

Серафим Павлович вспомнил рассказ отца о митинге в московском институте инженеров землеустройства на четвертом курсе (значит, шел тогда год 1936) - по поводу первого за годы учебы борща с мясом в институтской столовой. Таковы были истинные плоды коллективизации, ибо в годы нэпа кусок мяса за обеденным столом был такой же нормой, как и кусок хлеба. Потом в школе пионеры дружно скандировали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Этой подшивке «Правды Востока» было одиннадцать лет, когда Серафим Павлович родился. 1937 год вошел в историю его страны как черный. Тогда же почти никто из советских людей не осознавал, что живет в таком зловещем времени. Но мать очень беспокоилась за отца, ведь столько людей, о которых и не подумаешь плохого, вдруг оказывались врагами народа. Она говорила о своем беспокойстве, но более подробно своего состояния не передавала. Это чувство могло быть только интуитивным, идущим от чуткой души и любящего сердца. Другой природы оно не имело.

Серафим Павлович родился в Симферополе, где тогда жила его бабушка Мария Мартыновна. Деда по материнской линии, Якова Ивановича Рислинга, в живых он не застал. И бабушка, и дед его были немцами. Их предки приехали в Россию по приглашению Екатерины в конце ХУ111 века из одного прирейнского германского государства и поселились на юге Украины, в Мариуполе, который в советское время стал городом Ждановым. Яков Иванович то учительствовал, то инспектировал учебные или казенные заведения. Его сторублевой зарплаты вполне хватало на безбедное существование большой семьи; бабка вела дом и воспитывала детей. Их у нее было девять, четверо сынов и пятеро дочерей. Мать была в этой череде замыкающей.

Только один из ее сынов, хирург дядя Алоиз, пережил войну. Прекрасный врач, он спас жизни сотням раненых. Ему никогда не позволяли забыть, что он немец. Но тяжелораненые у него оставались жить чаще, чем у других, и ни одни уста не назвали его руку вражеской. «У бабушки было девять детей, - опять зафиксировал внимание на этом факте Серафим Павлович. – А у этих девятерых было десять детей. У второй моей бабушки, Олимпиады Ивановны, было шестеро детей, а у этих шестерых, точнее, у оставшихся в живых сынов ее – пятеро. Не есть ли это самая справедливая, самая глубинная, самая неопровержимая характеристика социалистической системы в нашем, российском исполнении?»

Олимпиада Ивановна, по свидетельству отца – причем отец признался в этом поздно – была из обедневшего княжеского рода. А муж ее Кузьма Феликсович Татур, дед Серафима Павловича, был из

мещан. Жили они, вероятно, не очень ладно, в гражданскую войну Кузьма Феликсович уже жил отдельно, и в эпидемию дизентерии за несколько дней умерли и Олимпиада Ивановна, и три сестры отца, и он, самый младший в семье, подросток тринадцати лет, вынужден был пешком идти из Минска в Москву, к старшему брату Сергею, выпрашивая по дороге подавание. Наверное, по этой причине отец всегда подавал нищим. Кузьма Феликсович тоже не дожил до рождения Серафима Павловича. Не знал внук и рода занятий деда. Скорее всего, был он мелким чиновником, а в советское время зарабатывал тем, что вел бухгалтерское дело. Умер дед в год рождения Серафима Павловича. Старший брат приютил отца, поставил на ноги.

Лет пятнадцать назад, когда отец, мать и Серафим Павлович поехали в Крым (отец юношей несколько лет работал в Крыму и очень его любил), мать показала ему дом, где до войны жила бабушка, и родильный дом, в котором он появился на свет. Ничто не дрогнуло тогда в его душе, он не ощутил, что его корни в Симферополе. Все, что было ему дорого, находилось в Ташкенте. Он смотрел на серые неказистые здания под пыльными кронами акаций и оставался абсолютно спокойным.

Так почему его родители избрали для постоянного места жительства Среднюю Азию, Ташкент? Уж вовсе не в предвидении того, что война не опалит Узбекистан своим губительным пламенем. Вероятно, их влекла к себе жизнь, не похожая на российскую, а также то, что к русским в этом краю относились по-доброму. У отца с матерью, которые учились в одной группе в Московском институте инженеров землеустройства и поженились на последнем курсе (отец рассказывал, как ходил с матерью в Большой театр, и на ней была белая трикотажная маечка-футболочка, и юбка простая, и босоножки проще некуда), была преддипломная практика в Каракалпакии, а потом их распределили в Узбекистан, или они сами попросились в эту экзотическую сиреневую даль с добродушными тружениками-земледельцами и вороватыми чиновниками, до которых им ни тогда, ни потом не было дела. Серафим Павлович не узнает теперь, как все обстояло на самом деле, да и не важно совсем это. Отец и мать приехали в Ташкент, как оказалось, навсегда. Отец был однолюбом и в семейной жизни, и в работе. Землеустроительный факультет Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства стал тем местом, где он проработал до дня кончины. Проработать пятнадцать лет сверх пенсионного возраста на советское государство означало одно: он любил это государство. И свою работу, конечно. Итак, родители приехали сюда в 1938 году, а через год родилась сестра Ольга. Мать проговорила как-то, что могла бы иметь еще одного ребенка – после войны, что очень хотела этого, но стесненные жилищные условия стали помехой. Восемь человек в двух комнатах плюс неуживчивый характер тети Муси – тут, конечно, было над чем задуматься. Когда же через тринадцать лет семья получила просторную квартиру на улице Богданова, время было упущено.

Итак, его родители обосновались в Ташкенте, где впоследствии и обрели вечный покой под обелисками коричневого гранита и голубоватого мрамора, которые стояли рядышком под можжевелником на Боткинском кладбище, а Серафим Павлович и Валерия не знали, как теперь отсюда выбраться. Этот мусульманский край давно уже не был благодушно настроен к русским. Но ему не так уж сильно хотелось в Россию, к своим детям, и Валерии тоже. И дело было не в том, что некуда было пока ехать. Что-то удерживало их здесь; этим что-то была прожитая здесь жизнь.

Он подумал, что совсем плохо помнит свои нежные годы – до начала обучения в школе. Эти годы зияли, словно провал между горными хребтами. Отец снял комнату в старом городе, в Шейхантауре, на улице Лялязар. Позже, уже в войну, семья переехала, но недалеко, на улицу Максима Горького, тоже в Шейхантаурской махалле. Почему отец поселился в старом городе, среди узбеков, а не в новом, русском? Скорее всего, по одной причине: снять комнату там стоило дешевле. Сейчас от Шейхантаурской махалли ничего не осталось, глинобитные кибитки с плоскими крышами уступили место безликим многоэтажкам. Ни улиц Лялязар и Максима Горького, ни домов, в которых жила семья, ни их хозяев он не помнил. Но что тогда русские бок о бок жили с узбеками без каких-либо сложностей, это факт. Сложности были только с властями (после начала войны) из-за пятой графы матери, бабушки и тети Муси, которые эвакуировались в Ташкент из Крыма. Немки по национальности, они не захотели оставаться под немцами-оккупантами. И, наверное, правильно сделали. Инициатива уехать из Крыма, скорее всего, принадлежала Мусе, патриотке по характеру, человеку комсомольской закалки, правдолюбке и правдоискательнице (последнее обстоятельство, скорее всего, и обрекло ее на вечное одиночество). Бабушка была аполитична, но легко подчинилась воле дочери. Житейская мудрость подсказала ей, что военные невзгоды лучше переносить вместе.

До войны отец работал в республиканском управлении землеустройства. И мать перед войной тоже вернулась на работу в это учреждение. Дети же были определены в детский сад, который размещался во дворе дома специалистов, примерно в километре от места жительства. Дом специалистов был помпезным толстостенным зданием и торцом выходил на набережную Анхор. Построенные до войны в Ташкенте четырехэтажные жилые дома можно было пересчитать по пальцам. Серафим Павлович вспомнил, что были няни, которые смотрели за ним и за сестрой. Не самих нянь он вспомнил, а слова матери о них. Одну из

нянь звали Амалия Ивановна. После войны она еще заглядывала к ним, славная пожилая женщина с большим носом и тонкими седыми волосами. Вторую, которой очень нравилась Оля, отец быстро рассчитал. Она выпила и скрылась с девочкой. Ее разыскали лишь к вечеру. После приезда бабушки нужда в нянях отпала раз и навсегда.

Мать часто рассказывала Серафиму Павловичу, что когда ему исполнился год и он пошел, он обварил себе руку. На крыльце стоял примус, источая керосиновый жар, мать варила манную кашу. Каша забулькала, зацокала, выбрасывая клубочки пара из вспучивающихся и лопающихся пузырей. Семена и балансируя ручками, он споткнулся о деревянное крыльцо, потерял равновесие и угодил ручкой в кастрюлю с кашей. На его истошный крик мать обернулась, схватила его, смахнула с руки кашу – вместе с кожей. Две недели он не давал родителям спать. Теперь на его правой ладони и следа не осталось от той маленькой трагедии. Еще мать рассказывала, как он болел диспепсией – сильнейшим желудочным расстройством, для детей часто гибельным. Отец пригласил лучшего в Ташкенте педиатра, который велел купить на базаре мешок риса, отобрать красные зерна, отварить их и давать ребенку по столовой ложке отвара каждые четверть часа. Родители все это скрупулезно выполнили, и мальчик выжил. А болел очень тяжело. Как следует из вышеизложенного, привыкание к Средней Азии шло через испытания, через преодоление невзгод, больших и маленьких.

Когда началась война, Серафиму Павловичу было четыре года. Какое бедствие обрушилось на его родину и какими тяжкими были последствия, он понял только в зрелые годы, когда открылась истинная цена поражений сорок первого года и истинная цена победы. Война, как он теперь понимал, тоже внесла свою злую лепту в несостоятельность общественной системы, избранной его страной, но лепта эта была миной замедленного действия. Многие годы спустя она стимулировала нежелание русского народа воспроизводить себя с дореволюционной щедростью, что привело к катастрофическому падению рождаемости. Сокращение популяции русских становилось историческим фактом, и на неоглядные просторы Сибири все жестче клали глаз китайцы и японцы: не быть же этой земле вечно бесхозной.

Перед войной отец принес в дом щенка, который вскоре вырос в великолепную овчарку. Собаку назвали Русланом. Маленький Серафим играл с Русланом и не знал от него обид. В дворике росла касторка, ее кусты казались мальчику высокими деревьями, он прятался среди них, и Руслан, конечно же, легко его находил. Но с собакой пришлось расстаться в первую же военную осень. Продукты сильно вздорожали, кормить Руслана стало нечем, и его подарили директору столовой. Ничего не взяли за собаку, лишь бы Руслану было хорошо. Отца мобилизовали не сразу, ближе к осени. И не на фронт его отправили, а в военно-инженерную академию, готовившую офицеров-саперов. Академия была эвакуирована в город Фрунзе. Отец проучился в ней ровно год. Мать считала, что эта отсрочка спасла его. Попади отец на фронт в сорок первом, мясорубка начала войны не выпустила бы его живым. Отец прибыл на фронт, когда в Сталинградском сражении наметился победный перелом. Его инженерно-саперная бригада стояла под Воронежем. К концу войны в ней осталась примерно седьмая часть первоначального списочного состава.

Перед отъездом во Фрунзе отец привел во двор барана. Чтобы семья могла легче перенести первую военную зиму. Баран наелся листьев касторки и занемог, его пришлось прирезать. Мать заготовила мясо впрок, обжаривая его и заливая жиром; половина барана осталась у хозяина дома – за услуги по разделке туши. К зиме семья расширилась, приехали бабушка Мария Мартыновна, Муся и трехлетний Алик, сын Сигизмунда Яковлевича, брата матери, и Агаты Христиановны, его жены. Самого Сигизмунда, учителя по профессии, к этому времени арестовали, он сболтнул что-то лишнее, комментируя предвоенный лозунг о победе малой кровью над любым врагом и на его территории. Сболтнул он лишнее и стигнул. То, что сошло бы русскому, немцу не спустило. Агате Христиановне через тридцать лет сообщили, что вины на ее мужа больше нет и что он посмертно реабилитирован. Мол, взяли человека и отправили на тот свет, а он, оказывается, совсем не виноват. Сообщили ей и год его смерти – 1942. Алик пробыл с ними всю войну, а потом Агата забрала его, и он, став взрослым, навестил их лишь однажды, и Серафим Павлович не знал, как сложилась его жизнь, счастлив ли он. Алик никогда не благодарил мать и Мусю за сделанное для него; значит, это было в порядке вещей. Его сестры, Маргарита и Мария (Маргариту вырастил дядя Алоиз, бездетный и очень добрый), стали врачами; Мария жила сейчас в Чебоксарах и славилась душевностью и гостеприимством. Судьба же Маргариты Сигизмундовны была Серафиму Павловичу неизвестна.

Итак, мать и Муся работали. И если у матери еще был восьмичасовой рабочий день, то Муся пропадала на заводе сутками. Она, как химик-технолог, устроилась на стеклотарном заводе. Бабушка, которой перевалило за семьдесят, вела домашнее хозяйство. Дети же были определены в детский сад, и каждое утро мать отводила всех троих в садик, а вечером забирала. По утрам мать спешила, время всегда поджимало, и она втискивала детей в трамвай, в эту вечно полную коробочку, а уже на следующей остановке они выходили. Однажды у матери выхватили сумочку – вместе с хлебными карточками, и семья провела страшный месяц, карточки восстановлению не подлежали. Из детского садика они чаще всего шли пешком. Летом Серафим Павлович ловил богомолков, зеленых и оливковых, таких лупоглазых и

голенастых. Они обитали на деревьях. Серафим Павлович легко отслеживал их зорким своим глазом, мгновенно взбирался на дерево, прямо взлетал по стволу до первых ветвей, отлавливал богомолку и сажал ее себе на голову. Мать возмущалась, он отстаивал свое право на общение с богомолками.

Вечерняя улица была полна обездоленных. В кучах мусора копошились нищие и калеки. Одни инвалиды выпрашивали милостыню, демонстрируя обрубки ног и рук и обожженные в танках лица, другие инвалиды продавали папирсы, мыло, спички. Евреи, их в эвакуации было особенно много, продавали леденцы собственного производства, подушечки по два рубля штука, петушки на деревянных палочках по пять рублей. Ольге страшно хотелось петушков, и она вымогала их у матери долгим, тяжелым, нудным плачем. Мать же не всегда могла позволить себе пятирублевую трату. Буханка хлеба на рынке стоила двести рублей, килограмм сливочного масла – три тысячи. Месячная зарплата матери составляла 700 рублей. Электричество часто отключали, и они сидели при керосиновой лампе. Все это время было голодно-голодно. И даже когда с фронта от отца стали приходить посылки с американской свиной тушенкой и яичным порошком, досыта поесть не удавалось. Все лето мать и Муся по воскресеньям работали на огороде, то есть на приусадебном хозяйстве своего предприятия, а осенью привозили домой по паре мешков картошки и лука и по полмешка риса и маша. Это было бесценным подспорьем. Однажды, вспомнил Серафим Павлович, к ним пришел узбек, председатель махаллинского комитета, и долго и жадно ел жидкую рисовую кашу. Ему подкладывали еще, и он не в силах был отказать. Сам эпизод запомнился ему только потому, что каши этой всегда было до обидного мало. Конечно, после такого начала вся дальнейшая жизнь долго казалась Серафиму Павловичу непрерывным восхождением от одной трудовой победы к другой, - нетребовательность и невзыскательность стали его привычкой.

Два или три раза семью обкрадывали. Делала это, скорее всего, жена хозяина. Проследив, что бабушка уходит на базар и возвращается примерно в одно и тоже время, она проникала в комнату, брала одежду со дна сундука и продавала ее. Пропажу обнаружили лишь месяцы спустя. Воры со стороны так осторожно себя бы не вели, они бы не стесняясь взяли все самое хорошее. Им-то для чего заметить следы? Но прямо обвинить соседку в воровстве было нельзя, не пойман – не вор. Особенно мать огорчила пропажа костюма и пальто какого-то друга отца, который перед уходом на фронт отдал их ей на хранение. Он вернулся с фронта еще до победы, после ранения, а его гражданского костюма не было. Скорее всего, он подумал, что, спасаясь от нужды, мать продала его вещи. Возместить же украденное, как понимал Серафим Павлович, матери было нечем.

Жизнь в детском саду тоже не запомнилась. Ну, игры были во дворе. Была попытка вырыть пещеру железной скобой, результатом которой оказалась маленькая лунка, годная разве на то, чтобы посадить в ней деревце. Было лазание по арыку, который проходил под большим кирпичным домом. Нависание свода над головой казалось таинственным и страшным. Но на другом конце блестело яркое солнечное пятно, и он шел к нему, спотыкаясь о мусор. Ну, утренники были праздничные, новогодние, Первомайские и на 7 ноября. Артистка выступала, гас свет, вспыхивал прожектор. Артистка превращалась в бабочку, узор и цвет крыльев которой все время менялся. Это была сказка, это он запомнил. И запомнил подарки в бумажных корзиночках, пару орехов, пару конфет, два-три печенья, яблоко. Приятно, конечно, но мало, чтобы наесться. Однажды на Новый год мать приспособила под елку куст лебеды. Ничего, сошла и такая елка. Воспитательница водила их на прогулки в ботанический сад, часть которого сохранилась и позже называлась сквером имени Юрия Гагарина, а еще позже – просто сквером, или набережной Анхора. В ботаническом саду порхали удивительные стрекозы с черными крыльями, росли высокие деревья, не тополя, не дубы и не карагачи, а какие-то совсем другие, и текла глубокая река с медленной зеленой водой, которая называлась канал Анхор. Он запомнил, как в зеленой воде плыла черная змейка, извиваясь всем телом и выставив наружу ромбовидную глазастую головку. В змейку полетели камни, но не причинили ей ущерба. Еще он запомнил, что однажды их повели в дом правительства. Все старшие группы детского сада. Оказывается, умер Юлдаш Ахунбабаев, и они участвовали в церемонии прощания. Позже он узнал, что Юлдаш Ахунбабаев, простой дехканин из Ферганской долины, был тем же, кем в Москве был Михаил Иванович Калинин – председателем Президиума Верховного Совета, и снискал себе добрую славу справедливостью и умением направлять энергию народа на высокие цели созидания.

От отца приходили письма, и тогда мать преображалась. Писем этих осталась большая пачка. Позже Серафим Павлович прочитал их. В них была трогательная забота о семье, которая далеко, и ни слова о фронтовых трудностях, ни слова о том, как война откладывалась в душе отца. В одном из писем были строки: «Жди меня, и я вернусь». Мать читала стихотворение и плакала. Серафим Павлович долго считал, что эти проникновенные строки принадлежат отцу и испытал разочарование, когда узнал правду. Когда долго не было писем с фронта, мать суровела, глаза ее западали, она всхлипывала по ночам, а Муся и бабушка утешали ее. Еще он запомнил, что все военные годы он был вещью, которую необходимо было сохранить. И сестра была точно такой же вещью, и двоюродный брат Алик. После войны, но не сразу, а

через какое-то время, когда позволили возможности, отец подарил матери очень дорогое кольцо – за то, что она сохранила детей.

Однажды отец прислал свой портрет – кусок ватмана размером с тетрадный лист, на котором кто-то из однополчан запечатлел его, используя черный, зеленый, красный и желтый карандаши. Дяденька, глядевший с портрета, был не знаком Серафиму. Но мать счастливо плакала и улыбалась. Он выучил в детском саду поэму Корнея Чуковского «Одолеем Бармалея» и декламировал ее по дороге домой, нигде не запинаясь. Он научился считать, складывать и вычитать, и не ошибался при этом. В их группе был мальчик Валерик с дыннообразной головой, который в пять лет прекрасно читал. Воспитательница часто протягивала ему книгу со словами: «Почитай нам, Валерик!» Валерик читал, а она отдыхала, слушая.

Незадолго перед победой на улицах стали продавать мороженое, но мать его им не покупала. День Победы запомнился салютом в полнеба, долгим-долгим, сытным обедом и тем, что люди обнимались и целовались от счастья, ведь это был самый счастливый день в их жизни. Ведь каждый из них старался ради этого светлого дня, как только может стараться человек, себя не жалея и не думая о себе. Стало известно, что мать хлопчет о квартире. Ему же предстояло пойти в школу. «Матери в войну было всего тридцать, она двенадцатого года рождения, на пять лет младше отца, - подумал Серафим Павлович. – Четыре года невероятного, нечеловеческого напряжения, четыре года одиночества. И никаких чужих дядей в доме. Никаких, никогда. Святая преданность мужу-фронтовику. По-другому и быть не могло, так ее воспитали. Отец был для нее все, как и она для отца».

Он вспомнил, что рассказывала ему об этих годах Валерия. Она с родителями эвакуировалась из Ростова на Дону осенью сорок первого вместе с коллективом «Ростсельмаша», где работал отец. «Ростсельмаш» обосновался в Ташкенте в недостроенных цехах второй очереди текстильного комбината, где вскоре развернул выпуск реактивных снарядов для «Катюш». Семья Валерии жила в бараке близ завода, а после войны – в коммунальной квартире по улице Шота Руставели. Валерию поместили в круглосуточный детский сад и домой забирали только по воскресеньям. Однажды ее отец, Павел Леонтьевич Карпенко, пришел за ней с чайником, в который ему налили борща на талоны усиленного питания, положенные работникам горячих цехов. По дороге домой Валерия высосала весь борщ из носика. В чайнике остался один-единственный капустный лист, он прилип к отверстиям носика. Капустный лист – вот и вся гуща в том военном борще. Отец отодрал этот лист, бросил в арык и заплакал: он, здоровый мужчина, не мог досыта накормить своего ребенка.

Как все-таки мало он запомнил то время, с укором подумал Серафим Павлович. Оно, конечно, отложилось в душе, но над ним уже было столько новых слоев, что оно почти не проглядывало. Он не запомнил ни одного человеческого лица. И ни одного события, которыми так богаты были те костоломные годы. Разве что победный салют, заливший майское небо. В вышине вырастали сказочные кроны, и гасли, оставляя дымок, и вспыхивали снова. И все были счастливы, даже те, кому уже не на что было надеяться.

Глава 3

В сентябре 1945 года Серафим Павлович пошел в школу, в первый класс, и стал рисовать палочки, крестики и нолики, а считать он умел давно. Свою первую учительницу он не запомнил, и школу тоже. В один, два или этажа была его школа, сейчас он не мог сказать. Он не знал, сохранилась ли она. Он только помнил, что школа была серая, большая, и надо было идти переулками, но недалеко. А мать все настойчивее добивалась новой квартиры, ведь близился приезд отца. Дом, в котором она просила освободившуюся квартиру, был закреплен за ее землеустроительным управлением. Но, как всегда, нашлись еще претенденты, и один из них, офицер комитета госбезопасности, успел уплатить за решетки и ставни и за что-то еще. У него тоже были шансы, и не маленькие: освободивший квартиру человек тоже работал в органах (потом из подвала была извлечена на белый свет и отнесена на помойку гора пустых консервных банок – свидетельство того, что работники органов чувствовали себя в войну куда лучше всех прочих, ковавших в тылу победу).

Мать нервничала, восьмилетний Серафим не мог понять, чего стоила ей новая квартира, какие ее окрыляли надежды. Наконец, дело сладилось, семья фронтовика получила приоритет над офицером КГБ, хотя и состояла наполовину из этнических немцев, желанный ордер был получен, мать возвратила второму претенденту деньги, уплаченные им за решетки и ставни, был назначен день переезда, и полторка, то есть неказистый полудеревянный грузовичок с кузовом, вмещающим полторы тонны груза, груженная нехитрым, небогатым их скарбом, покатила через добрую половину города на улицу Буденного, к дому № 78. Въехали в большие суриковые ворота во двор, перенесли вещи. На новоселов глядели с любопытством. Их семья заняла самую просторную квартиру в этом одноэтажном доме с толстыми стенами из сырцового кирпича и железной, порядком подточенной временем крышей. Дом был построен еще до революции, и какое-то время маленький Серафим поражался, как это такое огромное богатство могло принадлежать

одному человеку. Эта квартира потом сопровождала его всю жизнь – в снах, конечно. Никакие другие квартиры ему не снились, только эта.

До перевода в новую школу мальчик продолжал посещать старую, из которой возвращался в старую же квартиру, откуда мать и забирала его по вечерам. Вдруг он решил сам поехать в новый дом. Он и позже легко принимал решения такого плана. Он помнил, что надо сесть в трамвай № 10, и сделал это, но сошел не на нужной остановке Нефтесиндикат (ориентир – две клепаные емкости для нефтепродуктов у железнодорожного моста), а остановкой раньше, у Госпитального базара. И заплутался в тихих и узких переулках между базаром и улицей Буденного, прямой и длинной, берущей начало как раз у остановки Нефтесиндикат. Все было незнакомое, новое. Не как в переулках старого города с его дувалами и плоскими крышами. Он шел наугад, пугливо озираясь. Устал и заплакал. Какой-то сердобольный мужчина остановился, полюбопытствовал, в чем дело.

«Я потерялся!» – сказал Серафим. Мужчина стал расспрашивать, Серафим назвал улицу Буденного и сказал, что у их нового дома широкие красные ворота. «Ты там уже был, ты узнаешь эти ворота?» – спросил мужчина. «Да!» – ответил мальчик. Мужчина взял его за руку и повел на улицу Буденного, которая оказалась рядом. «Дальше, дальше, не здесь!» – говорил Серафим, и они шли дальше. Наконец, он увидел знакомые ворота. Его уже искали, мать не знала, что и думать. На старой квартире ей сказали, что сын не приходил. Увидев Серафима, она рванулась к нему, сгребла в охапку, прижала к груди. Потом отшлепала. Потом поблагодарила мужчину, который помог. А ночь уже опустилась, плотные сумерки окутали город. Еще бы немного, и в темноте он бы не узнал широких суриковых ворот, даже если бы прошел мимо них. А других ориентиров он не запомнил.

Все, конечно, улеглось. Мать потом говорила знакомым: «Подумать только, он сам нашел наш дом, а был в нем всего раз». Роль незнакомого мужчины-проводника, таким образом, сводилась на нет. Что ж, у эмоций своя манера обслуживать истину. С этим прелюбопытным фактом Серафим Павлович потом столкнется не раз. Его вскоре перевели в новую школу, № 38, перед которой был разбит небольшой парк. В этой школе он долго не проучился, месяца два-три, и запомнил только, что его учительницу звали Анастасия Дмитриевна, что лет ей было много и носила они только черные платья. Затем он стал ходить в школу № 37, железнодорожную, на улице Першина, с большим двором, западная сторона которого упиралась в канал Салар. Своей извилистостью Салар походил на реку. Ее он и кончил – через десять лет. До школы было недалеко, десять минут ходьбы.

В новой квартире семья и встретила отца. 14 лет прожили они в ней. Как потом осознал Серафим Павлович, все самое светлое, самое беззаботное, самое искрометное свое время он прожил в квартире по улице Буденного. Лучше, чем здесь, ему не было нигде. И снилась ему спустя много лет только эта квартира. С горшком герани на подоконнике, с голландской печью между комнатами. Не следующая, на улице Богданова, и не жаркий вагончик в Голодной степи, и не квартира в панельном доме на массиве Высоковольный, и не скособоченный домик во Фрунзе, и не их с Валерией Чиланзарская квартира, и не тракторозаводская, и не нынешняя, шикарно отремонтированная, на проспекте Дружбы народов, и не дачный неказистый домик, вросший в землю. Только квартира на улице Буденного снилась ему, и молодые отец и мать, и бабушка, месившая тесто для вареников на просторном обеденном столе, и... Сколько раз в мечтах он возвращался на эту квартиру. Но только в мечтах. Бесценный мир его детства хранила она, и ее стены цепко опекали его неприкосновенность.

Глава 4

Письма отца с фронта были единственной надеждой, которая связывала мать с будущим. Если бы пришла похоронка, свет погас бы для матери, и она жила бы по инерции, только ради детей, как жили после войны, после этой проклятой бойни миллионы вдов, ни на что не претендуя, тихо сгорая в буднях сталинских, а потом хрущевско-брежневских пятилеток. Когда война кончилась, мать перестала бояться за отца, и лицо ее, переставшее выражать постоянную тревогу, стало другим, просветленным и молодым. Теперь ждать было легче. Летом отец говорил с матерью по телефону, вероятно, советовался, как ему поступить: ему предлагали остаться в армии, сулили присвоить очередное воинское звание – подполковника. И место службы было определено – центральная Россия, город Воронеж, ему знакомый: там он начинал воевать. Отец был склонен не принимать этого предложения, его влекла мирная жизнь, да и годы его, как он считал, не способствовали военной карьере. Тридцать восемь ему уже было. Ну, десять-пятнадцать лет походит он в погонах, из них два года придется отдать академии генерального штаба. Нет, на какой-то рост он мог рассчитывать, даже генеральские погоны светили ему, пока майору. Но все-таки он был не кадровый военный. Мать настаивала на возвращении в Ташкент. И аргумент у нее был веский: своя квартира.

Прошло лето – отец не ехал. Наступила осень, Серафим пошел в школу, затем семья переехала – отец все не ехал. Наконец, прочитав очередное письмо, мать всплеснула руками. Приказ о демобилизации подписан! Ура, ура, их отец возвращается с войны! Мать и Серафим пошли встречать поезд. Никогда он не видел мать такой нарядной, красивой, с такими яркими глазами. Букет хризантем был в ее руке. Но поезд не пришел в положенное время. Они пошли еще раз, и опять напрасно. Хризантемы утратили свою свежесть, мать заменила их и глубокой ночью пошла на вокзал – одна. Серафим проснулся от включенного света и от того, что мужчина в шинели извлек его из кровати и прижал к себе. У мужчины были колючие щеки, почему-то влажные. «Папа! Папа приехал!» – закричал Серафим. На второй руке отца уместилась Оля. Отец приехал, все были счастливы безмерно. Серафим и Ольга получили по кульку конфет, и еще были кое-какие гостинцы, какие-то обнови вроде туфель на подошве из кожзамениителя, которые быстро прохудились. Серафим сажился к отцу на колени, но долго и упорно говорил ему «вы». Только позже он осознал, какое это было счастье – отец вернулся с войны живым и невредимым! Ведь с такой войны возвращались немногие. В его классе, наверное, у доброй половины ребят не было живых отцов.

Вскоре прибыл контейнер с вещами, которые отец получил от интендантского управления фронта при демобилизации. Как теперь понимал Серафим Павлович, ратная служба офицеров-фронтовиков частично оплачивалась трофеями наших войск, в число которых входило и имущество фашистских бонз. Возможно, оно включалось в счет репараций, возможно, и нет. Ремонт для ГДР впоследствии были сокращены наполовину, но и это не позволило Германской Демократической Республике стать витриной социализма на западе. ФРГ быстро обошла ее в экономическом соперничестве. Среди полученных вещей были: два пианино (это всех ошарашило и долго разжигало любопытство знакомых: «Зачем, скажите пожалуйста, вам два пианино?»), диван, кресло, два дубовых стула с высокими резными спинками, кровать, два радиоприемника, один из которых прослужил довольно долго, второй, окопный, в футляре-чемодане, питавшийся от аккумулятора, так и не наше применения; два больших ковра, настенные часы и что-то из одежды и посуды.

Часы были в футляре красного дерева, то ли швейцарские, то ли немецкие, с боем; их венчал вырезанный из дерева орел, который сжимал в когтях свастику. Орла со свастикой, конечно, с футляра немедленно удалили. А часы шли до сих пор, ничего с ними не случилось за эти полвека. Однажды, правда, они упали бабушке на голову и чуть не проломили ей нос. Они стали семейной реликвией, и Серафим Павлович знал, что подарит их сыну. Их достаточно было смазать, и лет пять или шесть к механизму можно было не прикасаться. Они били торжественно и громко: «Бом! Бом! Бом!» Завода хватало дней на десять. Да, только эти часы, пианино у сестры и два стула остались от трофейного имущества, выделенного отцу. За пианино давно никто не сажился, и Ольга не стала брать его в Петербург, когда семья ее навсегда уезжала из Ташкента. Да, еще из контейнера был извлечен велосипед марки «Оригинал Шургофф», взрослый, дорожный, и водворен в кладовую – до лучших времен, то есть до той поры, когда Серафим вырастет и сможет доставать до педалей. Это было, конечно, неслыханное богатство. В дороге контейнер вскрыли, но чего в результате этого лишилась семья, Серафим Павлович не мог припомнить. Украли что-то из одежды и что-то ценное, возможно, швейную машинку и фарфоровый сервиз. Вслух отец и мать по этому поводу не переживали. Комнаты теперь смотрелись по-другому, квартира приобрела состоятельный вид.

А до прибытия контейнера в квартире было пусто. В первой комнате, которая являлась и кухней, так как в ней в переднем углу, рядом с входной дверью, находилась дровяная печь с двумя конфорками, стоял массивный обеденный стол с толстыми ножками. Он раздвигался, и тогда за него могла сесть большая семья и 6 – 8 гостей. На этом столе бабушка месила тесто и лепила клецки, вареники и пирожки. Лет через двадцать этот стол был заменен столом из гарнитура, элегантным и хрупким. И отец горько пожалел о такой замене. Гарнитурный стол хотя и сверкал полировкой, но другими своими качествами не шел в сравнение со старым добротным обеденным столом. И шкаф был в этой комнате весьма обыкновенный. Его появление в доме связывалось с именем Амалии Ивановны. В нем хранились крупа, сахар, мука и посуда. Шкаф дожил до сегодняшних дней и стоял на балконе, жалкий, обшарпанный, забитый всякой рухлядью, к которой годами не прикасались руки хозяев дома. Время от времени у Серафима Павловича возникала мысль основательно его почистить, но до дела так и не доходило.

Серафим немного подрос и стал жадно расспрашивать отца о войне. И он, и сестра Ольга не слушали – внимали. Отец тушил свет, и начиналось таинство – воспроизведение боевого пути инженерно-саперной бригады, в рядах которой отец дослужился до майора, был награжден тремя орденами (Красной звезды, Отечественной войны первой и второй степени) и двумя медалями, из которых одну, «За отвагу», ценил наравне с орденами. Этапы воинской службы отца Серафим Павлович отразил потом в рассказе «Вставай, страна огромная» и романе «Периферия» – в той главе, которая была посвящена смерти отца.

Прибытие отца на фронт было отмечено конфузом. Отец и еще один новоиспеченный лейтенант сошли с поезда близ Воронежа. Налетели немецкие самолеты, заухали бомбы, отец и его товарищ

плюхнулись лицом в снег. И тут к ним подошел мальчик, наклонился и произнес негромко: «Дяденьки, вставайте, это бомбят соседнюю станцию». Дяденьки поднялись, отряхнулись, зарделись от смущения, что-то сказали хлопцу – и пошли искать свою часть. Еще долго после войны отец оценивал местность с точки зрения того, есть ли вблизи укрытие от артиллерийского обстрела или бомбежки. Вскоре началось наступление под Сталинградом, фронт двинулся к Днепру, почти докатился до его левого берега, почти за него уцепился – но силы были истощены, танки выбиты. И фронт попятился назад, вновь отдав врагу Харьков и часть Донбасса.

Отцу доверили возглавить заградительный отряд. Он состоял из роты саперов и трех-четырёх «студебеккеров» – автомобилей американского производства типа наших «Камазов». На пути вероятного движения танков противника заградительный отряд ставил мины. Отец подумал, что одна из ложбин может привлечь немцев, и заминировал ее. Танки пошли по ней, два из них подорвались. В ту зиму отец воочию увидел войну. Увидел, что остается после огневого налета «Катюш». В балочке, куда «Катюши» обрушили свой огневой смерч, остались лежать пять тысяч итальянцев, целая дивизия с техникой и снаряжением. Увидел солдат, которые шли в атаку по глубокому снегу и, сраженные кинжальным огнем пулеметов, не смогли упасть, так глубокий и вязкий был мартовский снег, и замерзли, закоченели. Мертвые, они продолжали идти в свою последнюю атаку, и видеть это было жутко. Он увидел, что остается от человека, по которому проезжает танк. Мокрое пятно остается, которое потом медленно высыхает. Увидел, к каким хитростям прибегали фашисты, отступая. Вот лежит убитый немецкий офицер, его рука откинута, на запястье блестят золотые часы. А от часов, невидимая глазу, тянется проволочка к мине, закопанной под рукой. Подбежит русский солдат, позарится на часы – и полетит в Россию еще одна похоронка.

При форсировании Днепра бригада поредела вдвое. Но были наведены переправы, в том числе подводные мосты, настил которых находился в 20 – 30 сантиметрах ниже уровня воды, и ни одну из них врагу не позволили вывести из строя. С разведчиками отец переправился на правый берег. Ночь, не видно ни зги. Его рука, вытянутая вперед и ощупывающая землю на предмет обнаружения мин, ткнулась в осклизлое лицо мертвеца. Потом его неделю преследовал трупный запах, не вытравливаемый, липучий-липучий. Потом был бросок вперед, к Николаеву и Одессе. Бригада отца разминировала знаменитые Николаевские судостроительные верфи. На верфях были спрятаны десятки мощных фугасов замедленного действия. Немцы ставили в них часовой механизм, двойник будильника, или химический взрыватель (когда проволочку переедает кислота). Проволочка рвется, пружинка срабатывает, мина взрывается. Отец с солдатами простукивал и прослушивал стены подвалов. И там, где была свежая штукатурка или тикали часы, стену разбирали. Обнаруживая мину, первым делом переводили стрелку часов вперед. И с облегчением переводили дух.

В подвале их внимание привлек портрет Сталина. Почему немцы его не сняли? Ага, вот почему. За портретом светлела свежая штукатурка. Разобрали стену, извлекли мину. И совсем новые мины, неизвестной конструкции, приходилось разбирать отцу. Ибо все то, что должен уметь солдат, прежде него должен уметь офицер. Отец спускался в землянку, расстилал на ящике или столике шинель, клал на нее мину и приступал к разборке, фиксируя каждое свое действие и передавая листочки с записями наверх, чтобы, если с ним что-нибудь случится, следующий офицер знал, к какой части мины не надо прикасаться.

После Николаева были Одесса и Молдавия с прекрасным сухим вином (молдаване особой любви к русским не выказывали, и бочки с вином, закопанные во дворах, солдаты отыскивали минными шупами), были доты на старой границе, защитников которых немцы затравили газами, полагая, что это не откроется. И был Сандомирский плацдарм на Висле, с которого в январе 1945 года началось стремительное освобождение Польши. И был в Восточной Пруссии город-крепость Бреслау (сейчас – Вроцлав), осадой которого саперная бригада отца завершила войну. Под Бреслау отца едва не подстрелила женщина-снайпер. Она сбила с него шапку-ушанку. Их было много, жен погибших офицеров, которые приняли обет мщения. Геббельс очень профессионально делал свое дело, культивируя ненависть. Они стреляли из развалин, а когда автоматчики прочесывали развалины, выходили без оружия и говорили «Их кранке» – я больна. Вначале их отпускали. Когда же выяснилось, что к чему, их расстреливали на месте.

По схеме подземных коммуникаций Бреслау отец провел в центр города диверсионный отряд, который устроил там большой фейерверк с подрывом двух самоходных орудий. Правда, потом от участников этой акции долго пахло канализацией. Под Бреслау отец и закончил войну. Крепость эта капитулировала второго мая, на день позже Берлина. Осаждавшие не имели перевеса над гарнизоном крепости и ограничивались жесткой блокадой. И все же за два месяца у армейского госпиталя близ Бреслау образовалось кладбище на десять тысяч могил.

Когда отец уставал рассказывать или ему надоело, он неизменно говорил одно и то же: «В это время прилетел снаряд и разорвался неподалеку, и я не помню, что было дальше». Это было равносильно объявлению: продолжение следует. Дети перебирались каждый в свою кровать, и ночь вступала в свои права. Серафим, когда стал старше, обожал играть в войну. Не со сверстниками он играл, это было

малоинтересно, а сам с собой, в комнате отца и матери, когда они были на работе, на полу. Вражеские полки штурмовали его позиции, он вел по ним артиллерийский огонь или поднимал в воздух самолеты. Из кубиков он строил танки, боевые корабли, артиллерийские орудия. Пузатые бочонки лото, костяшки домино и шахматные фигурки изображали солдат. Шашки он использовал в качестве снарядов. Щелчком снаряд посылался в цель, его падение вызывало во вражеских рядах опустошение, маленькое или большое. Он любил свои игры. Летели часы, он не замечал времени. Когда темнело и первой возвращалась с работы мать, он быстро все убирал, он стеснялся присутствия взрослых. Позже, учась в десятом классе, он рисовал карту, населял материка народами и государствами, мобилизовывал армии – и начиналась война, всегда непредсказуемая, яркая. Он, как стратег, обрушивал удары и защищался, и не скоро улегались страсти на листе бумаги, превращенном им в карту.

В 1975 году, когда страна праздновала тридцатилетие победы, Серафим Павлович поехал с отцом в Москву, на встречу с его однополчанами. Человек двадцать ветеранов пришло на встречу. Заказали стол в ресторане Аэрофлота. Перецеловались, повосклищали, поохали, видя, как сдали друзья-иногородники и понимая, что точно так же сдали они сами. Сели за стол, подняли бокалы. Серафим Павлович увидел, что отца любили. «Павлик, Павлик, Павлуша!» – раздавалось отовсюду. Серафим Павлович щелкал фотоаппаратом, запечатлевая мгновения, которые, он знал, не повторятся. Какие это были душевные, чистые люди! У него защемило сердце: он подумал, что этим людям недолго оставалось видеть солнце. Действительно, один из ветеранов, который сидел за столом справа от него, через неделю скончался – отец получил скорбную телеграмму... Только один из всех, в чине генерала, еще служил. Он имел отношение к подземному хозяйству Москвы, к подземной Москве, которая тоже была велика, но скрыта от обозрения. Все другие стали людьми гражданскими, и все они спускались вниз – каждый со своей вершины. Спускался со своей вершины и отец. Как долго мог длиться это спуск?

Глава 5

Серафима Павловича до сих пор тянуло в квартиру на улице Буденного, в этот сырцовый большой ничем не примечательный дом, в котором когда дружно, а когда и совсем не дружно жило восемь семей. Лишь в стенах этого дома он помнил себя, раньше – нет. Вокруг жили русские и те, кого сегодня зовут русскоязычным людом, а узбеки жили в старом городе, за каналом Анхор. Так повелось с царских времен. И русским, и узбекам это было удобно. Традиции и обычаи каждого народа сохранялись в неприкосновенности, все вокруг оставалось своим. Не случайно, наверное, во всех больших городах Америки есть негритянские, итальянские, китайские, латиноамериканские и прочие кварталы, ограждающие национальное, свое, от интернационального, всемирного.

В этом доме семья заняла две комнаты, и каждая из них была больше той, которую семья снимала в старом городе. Дверь со двора вела в крошечную прихожую, в которой стояла дровяная печь и можно было готовить. Подпол был под прихожей, но им не пользовались, а пользовались вторым, в комнате отца и матери, в котором предыдущие хозяева оставили гору пустых банок из-под сгущенки и тушенки, видно, стеснялись выбрасывать на общую помойку, стеснялись демонстрировать голодным соседям свое высокое благосостояние. Ни одного окна не было в прихожке, переделанной из террасы. Дверь в гостиную, первую комнату, запиралась на щеколду, так что можно было не опасаться ночных гостей.

Два окна первой комнаты выходили на юг, в переулок, именуемый третьим проездом Буденного, и туда же выходило окно второй комнаты, угловой, а второе окно этой комнаты смотрело на восток, на улицу Буденного, в то время едва присыпанную гравием. Через это окно проходила осевая линия переулка, именуемого вторым проездом Буденного. В конце его жил друг и одноклассник Серафима Валентин Хадиков, сын обрусевшего осетина и русской, Ольги Мартыновны (царствие ей небесное!). Серафим из этого окна видел, как Валентин отправлялся в школу, и присоединялся к нему, не заставляя друга ждать. Перед окнами был узкий тротуар, который заасфальтировали в пятидесятые годы. Между тротуаром и улицей протекал арык и росли тополя, посаженные близко друг от друга. Они были высокие-высокие, и на них роились воробьи. В весенние бури подгнившие деревья падали, часто на крышу дома. Ремонт крыши влетал в копейчку.

В первой комнате - гостиной, в углу возле двери стояла дровяная печь с духовкой и двумя конфорками, прожорливая, чадящая, неудобная. Ею пользовались лет пять, потом перешли на керогаз. В стену, разделяющую комнаты, была вмурована печь-контрамарка, облицованная жестью, покрытой черным лаком. Серафиму нравилось ее растапливать. Нарубив саксаулу или дров, набрав ведро угля, он садился на корточки перед чугунным зевом печи, потчевал ее дровами, разжигал их, дожидаясь, когда пламя замечется, загудит, охватит поленья сверху донизу, затем обкладывал дрова крупными кусками угля, а сверху насыпал три-четыре совка угольной мелочи и пыли. И вскоре от контрамарки далеко

распространялось живительное тепло. Лишь в самые сильные морозы ее надо было топить ежедневно, а так вполне хватало и через день.

Вначале Серафим спал в комнате родителей, затем, когда Муся и Юра, ее сын, получили свою квартиру, перебрался в первую комнату. Его кровать стояла между пианино и кухонной плитой. Пианино, его кровать и печь составляли длину комнаты, или ширину, ибо комната была почти квадратной. Между двумя окнами стоял диван, а в углу – кухонный шкаф, он же и буфет. В простенке висели часы с боем, орел с которых был снят по причине того, что держал в когтях свастику. Всю середину комнаты занимал обеденный стол. У дальней стены стояла бабушкина кровать, деревянная, на пружинах, которую несчетное число раз ошпаривали кипятком и мазали керосином, сживая со света колонии клопов. Клопы в те годы были всеобщим бедствием. Коврик какой-то был прилажен над кроватью или скатерка льняная. Между печью-контрамаркой и дверью в спальную родителей, которая одновременно являлась и кабинетом отца, была втиснута книжная этажерочка. Над пианино висел пейзаж – лес лиственный на косогоре в летнюю пору, написанный масляными красками, мало чем примечательный. Возможно, чей-то подарок. На диване спала тетя Саша. Свободным оставалось пространство между обеденным столом и бабушкиной кроватью – метра два, наверное. В этом месте краска на полу долго не держалась.

Во второй комнате стояли кровать родителей, диван – у окна, выходящего на улицу Буденного, двухтумбовый письменный стол, совсем небольшой – у второго окна, два книжных шкафа – в углу, между кроватью родителей и диваном, и между печью и дверью, и второе пианино, за которое никто никогда не садился. А середину занимал круглый стол, за которым любил работать отец. За этим же столом происходили проферансные баталии, когда семью навещала чета Артамоновых – Елена Афанасьевна и Владимир Семенович. За свой письменный стол отец почти не садился, и Серафим вскоре этим воспользовался, заняв его явочным порядком, заполнив его ящики своими тетрадами. Над кроватью родителей висел ковер, занимавший почти всю стену. Постланный на пол лет через тридцать, он быстро истлел и истрепался. Угол второй комнаты (это одновременно был угол улицы Буденного и третьего Буденновского проезда) занимал чулан, отделенный от комнаты перегородкой толщиной в половину кирпича. Когда-то это была прихожая с отдельным выходом на улицу. Но выход этот заколотили, а позже и заложили кирпичом, и чулан сделался прибежищем старых вещей, а затем и фотолабораторией, когда Серафим пристрастился к фотоаппарату. Несмотря на эту перегородочку, комната не выглядела несуразной, наверное, из-за своей величины.

Вот, пожалуй, и все, что касалось квартиры и обстановки. Отец любил, чтобы семья не испытывала недостатка в продуктах, чтобы гость, званый или незваный, был доволен приемом, и на зиму заготавливались картошка и солилась капуста, а летом, в пик овощного сезона, закупалось штук пятьдесят арбузов и дынь, на два-три месяца. Дыни хранились под кроватями, и дом надолго пропитывался их ароматом. Бахчевые культуры в те годы выращивались без селитры, и случаев отравления ими не было. Когда-то, еще в школьные годы, Серафим Павлович попробовал описать обстановку их квартиры в своем дневнике, и отец посмеялся над его многословием: «У окна, которое выходит...» Вот и сейчас, перечитывая написанное, он вспомнил хохот отца и его веселое: «Так длинно не пишут, не пишут, не пишут!»

Ни отца, ни матери, ни бабушки, ни тети Саши, ни Муси, ни Юры давным-давно не было на белом свете. Он, сестра Ольга и их семьи. У каждого человека свое временное пространство. И у каждой семьи. И у каждого народа. И у каждого государства. И, конечно, у человечества. Ибо ничто не вечно под солнцем, ничто не вечно, даже само солнце.

Двор их дома не был приспособлен для игр и забав. То есть, он не был для этого достаточно просторен. Палисаднички у трех крылец, кладовочки, туалет, помойка. Проход между палисадничками и кладовками – где же тут развернуться мальчишеской ватаге, где разгуляться, разбежаться? Но еще в третьем, в четвертом классе они играли в куликашки и находили, где прятаться – двор не был лишен укромных местечек. Потом двор стал узок и мал. Они выросли и бросили его, как старую, сносившуюся одежду. Правда, у ворот можно было попинать футбольный мяч, что Серафим со сверстниками и делал еще лет пять. Мяч гулко ударялся в сухие доски ворот, и соседи когда терпели, а когда и изгоняли их куда-нибудь подальше. Ни цветами, ни деревьями не был славен их двор.

Серафим еще застал колодец со скрипучим воротом. До воды было метров 5 – 6. До туалета от колодца было метров двенадцать. Но такое соседство никого не смущало. Выгребную яму под туалетом, выложенную кирпичом, опорожняли раз в год. Приезжали ассенизаторы со своими бочками на брличках и вручную, ведрами, вычерпывали содержимое отхожего места. «Говновозы! Говновозы!» – дразнили их мальчишки. Они привыкли и не обижались, даже не оглядывались на маленьких своих хулителей. Колоритными личностями были возчики – продавцы керосина. Все как на подбор рослые, усатые – бывшие кавалеристы. Они важно шествовали по середине улицы, впереди своих внушительных бочек. Орали в рупор: «Керосин! Кер-ро-син!» И когда идущего за ними люда с бидонами и банками набиралось

достаточно, останавливали свои телеги и начинали продавать керосин, отмеривая его медными литровыми кружками.

Готовить на керосине было дешевле и удобнее, чем на дровах и угле. Еще по их улице время от времени вышагивали умельцы бравой выправки, в телогрейках и сапогах, и кричали: «Кому кастрировать? Кому кастрировать?» Вдогонку им из-за заборов неизменно несло зазорное мальчишеское: «Сам себя покастрируй!» Но на глаза умельцам смельчаки-крикуны попасть не спешили. До Серафима не сразу дошел смысл занятия этих умельцев. Вокруг многие держали скот. Кормили его бардой с пивоваренного завода, сеном и люцерной, и выхолостить бычка или хряка, поставленного на откорм, было для этих людей жизненной необходимостью.

Водопровод на улице Буденного появился в начале пятидесятых годов. В колодце отпала надобность. Какое-то время он еще постоял, про запас, но, убедившись, что вода в водопроводной сети не иссякает, мужики его засыпали, а сруб пустили на дрова. Вообще, их район мало подвергался изменениям. Водопровод да асфальт – вот две веши, оставленные социалистической цивилизацией на их улице за 14 послевоенных лет. Впоследствии к водопроводу прибавились газ и канализация. Ну, кому-то, кто побогаче и попроворней, провели телефон. И все, и все. Сырцовый дом, дом его детства, построенный еще до Октября 1917 года, и сегодня терпеливо ждал, когда его снесут, а на его месте возведут многоэтажку со стандартным набором городских удобств. Возможно, дом простоит еще, и кто-то встретит в его стенах двухтысячный год. Строительные краны пока обходили стороной тихую улицу Буденного.

В их дворе жили, если считать от ворот, Муратовы, затем Бочаровы, Арсентьевы, Прокопенко, затем их семья, далее Жуковы, Кузнецовы и Ладыгины. Район был чисто русским, о чем не скажешь сегодня: у русских, в массовом порядке отбывающих на свою историческую родину, дома покупают только узбеки, причем по ценам, раз в пять дешевле российских.

У Муратовых главой семьи был Хамза Исакович, один из сослуживцев матери, высокий худой казанский татарин с манерами интеллигента в первом поколении. Его жену звали Мариам; она мастерски пекла чебуреки. У низ рос единственный сын Рустам, сверстник Серафима и его одноклассник. Между ними не сложилось ни дружбы, ни соперничества, ни неприязни. Съехав с улицы Буденного, Серафим потерял Рустама из вида и не знал, как сложилась его жизнь. Рустам вырос похожим на отца и мало чем выделялся. Способности имел средние, к книгам и спорту не тянулся, в мальчишеских компаниях вел себя если и не совсем тихо, то и не задиристо, к компании Серафима и его друзей не примыкал, и Серафим даже не знал, была ли у него своя компания и из кого она состояла. Выяснить отношения Муратовы не любили и в дворовые склоки ввязывались по необходимости. Так, в первые послевоенные годы весь дом пользовался одним счетчиком, и каждая семья могла зажечь не более двух лампочек, и только две семьи могли одновременно включить электроплитки. Вот по поводу этих плиток чаще всего и вспыхивали острые перебранки. Вдруг вырубало предохранитель, гас свет и поднимался великий хай, великий ор на полчаса, на час: кто посмел не в свою очередь включить электроплитку? Виноватого почти никогда не находили, но душу отводили в ругани и в выяснении всей поднаготной ближних. Отец первый не вытерпел этого наглого ора и купил персональный счетчик. А через какое-то время электричество перестало быть дефицитом, и плиточные разборки увяли сами собой.

Семья Бочаровых, большая и недружная, была, пожалуй, самая неблагополучная, самая нуждающаяся. Глава семьи сложил голову за отчизну, и семье явно недоставало стержня. Два старика были в этой семье, вдова и двое ее сынов, один постарше, второй младше Серафима. Вдова работала, но получала мало. Старик-инвалид шастал на костылях и всю свою пенсию оставлял в пивной. Вскоре он умер. Возможно, первой умерла его жена; Серафим Павлович этой подробности уже не помнил. Ни с Анатолием Бочаровым, старшим, ни с его братом Виктором Серафим не дружил, только здоровался. Анатолий рано женился, его первый ребенок родился с пороком сердца. Судьба Виктора сложилась, возможно, более счастливо. Во всяком случае, он окончил среднюю школу и при Серафиме превратился в статного, пригожего юношу. А что было с ним дальше, он не знал. Уже после института, работая в Голодной степи, он один раз пошел в горы с друзьями своего двоюродного брата Юры, среди которых был и Виктор. На этом их контакты, и так несущественные, прервались. Да, лет через десять, когда Серафим Павлович работал в газете, его разыскал Анатолий и стал сбивчиво и зло жаловаться на Виктора. У него были к нему какие-то материальные претензии. Он просил заклеить брата позором.

- А дальше что? – спокойно спросил Серафим Павлович. – Ну, заклеим мы позором брата твоего. А как ты сам отнесешься к этому через год, через десять лет? Наверное, тебе станет стыдно. Советую одуматься. Лучше всего вам помириться.

Анатолий, понутив голову, ушел, и все, и все.

Арсентьевы вначале жили вдвоем, глава семьи погиб на войне, вдова работала ткачихой на текстильном комбинате, а сын ее был много старше Серафима и по этой причине не годился ему в приятели. Это был заядлый голубятник. Как он лелеял своих пташек, как зорко следил, чтобы им сладко

елось-пилось, чтобы они вовремя приносили потомство. Как упоительно наблюдал за их полетом! Но Серафима это увлечение не задело, он любил книги, шахматы и дикую природу. По этой причине к Николаю Арсентьеву его не тянуло и позже, когда возраст уже не играл особой роли. Николай никогда не сказал ему недоброго слова, но Серафим не любил встречаться с ним во дворе. Как, впрочем, и с другими жильцами.

Семья Прокопенко тянулась к их семье, хотя сверстников Серафима у Прокопенко не было. Нина, сдобная молодая женщина, вела дом и воспитывала троих детей, а Афанасий, шофер-фронтвик, работал водителем, был оборотист и смекалист, что-то всегда прирабатывал, что-то приносил сверх зарплаты, имея навар на перепродаже запасных частей и покрышек, и его семья жила в полном достатке. Однажды из его кладовки все вынесли, но это его не обескуражило. Первый телевизор марки КВН появился в семье Прокопенко, и первая личная машина, правда, подержанная. Афанасий не всегда деликатно обходился с Ниной, в гневе поднимал на нее руку. Она терпела, он скоро отходил. Дети у них росли тихие, собой не видные. Конечно, потом они могли расцвести, но Серафим уже не мог быть свидетелем этого.

Далее, через стену от них жили Жуковы. Глава этой семьи тоже пал смертью храбрых, и хозяйке, Полине Васильевне, женщине волевой и энергичной, приходилось не легко с дочерью Светланой, ровесницей Оли, которая выросла смышленной и расторопной. Полина Васильевна была высокая, статная и в молодости, несомненно, производила впечатление. Но война выжала ее сверх меры – и высушила, опустошила, обездолила. Серафим подумал, что то же самое произошло бы с его матерью, если бы отец сложил голову где-нибудь на полях Великой отечественной. Полина Васильевна тихо блекла, тихо угасала. А Светлана расцвела в свое время. И школу закончила отменно, кажется, с серебряной медалью, и пошла учиться на педагога, и парни у нее были заметные, рослые и добронравные.

Одно время, уже после переезда на улицу Богданова, Серафим приходил к ней, стучался в окно, и они встречались, а потом разошлись без какого-либо предлога и без глубокой зарубки в его памяти – к ней продолжали приходиться другие парни, и ему это не нравилось. С тех пор она бесследно растворилась в житейском море. Что она и кто она, и как она, и кем стали ее дети, он не знал, он только желал ей судьбы более счастливой, чем судьба ее матери, многострадальной и многотерпеливой Полины Васильевны. На похоронах Муси он встретил Полину Васильевну и Нину Прокопенко. Но о Светлане Полина Васильевна сообщила мельком, Серафим Павлович понял только, что не все у нее благополучно, но совершенно не понял, в чем заключается ее неблагополучие, а для подробных расспросов момент был не подходящий.

Далее жили благообразные старцы Кузнецовы с дочерью Ниной, которая так и не вышла замуж, точнее, вышла на очень короткое время, что совсем не запомнилось, а потом снова осталось одна. Кажется, она работала медицинской сестрой, была тиха и старалась быть совсем незаметной. Ходила она тоже тихо – скользила, как тень.

Последнюю квартиру занимала чета Ладыгиных, майор Евгений Васильевич и его жена Елизавета Афанасьевна, миниатюрная полная блондинка с тихим вкрадчивым голосом. Евгений Васильевич, роста ниже среднего, был выше ее на полголовы. У Евгения Васильевича был сын Леонид от первого брака, лет на шесть старше Серафима, которого за округлость форм во дворе звали Пончиком. Он стал военным врачом, служил в Германии и очень рано умер от почечной недостаточности. Он и до тридцати лет не дотянул. После его смерти родители переехали в Кисловодск, где глава семьи вскоре вышел на пенсию.

Евгений Васильевич и Елизавета Афанасьевна были частыми гостями родителей Серафима Павловича. Наверное, отца тянуло к военным, потому что какой-либо близости интересов между семьями так и не обнаружилось. С Лодыгиными отец и мать играли в домино, забивали «козла». Какой-либо изюминкой, яркой особенностью ни Евгений Васильевич, ни Елизавета Афанасьевна Серафиму не запомнились. Однажды – Серафим учился уже в десятом классе – кто-то во дворе пустил слушок, что Серафим желает Леониду несчастья. Никакого конфликта с Леонидом у него не было, и неоткуда было взяться недоброжелательству. Слушок этот его сильно задел, обидел. Он болезненно переживал навет. Кто пустил недобрый слушок, он так и не узнал. Теперь об этом можно было забыть, но память цепко держала в своих глубинах и этот никчемный фактик.

На улице Буденного, как и на соседних улицах и во всем районе, жили русские и совсем не селились узбеки. С царских еще времен повелось, что русские селились отдельно. В этом был свой глубокий смысл. Русские не мешали узбекам жить так, как они привыкли, не вносили своим присутствием рядом диссонанс в устоявшийся ритм их жизни. И точно так же узбеки своим присутствием рядом не мешали русским жить по своим традициям и законам. Каждый чувствовал себя своим среди своих, и это устраивало и коренное население, и пришельцев. Русский новый Ташкент рядом со старым, в простонародье – Новый город. Русский город Скобелев (нынешняя Фергана) в Ферганской долине. А рядом чисто узбекские Маргиллан и Коканд со своими мечетями и базарами. И – все довольны. Уже в хрущевские времена в новых микрорайонах узбеки стали селиться вместе с русскими. Но это их не

сблизило. Напротив, близкое соседство причиняло неудобства, о которых не принято было говорить, с которыми принято было мириться.

Итак, Серафим рос в русской среде, вокруг него звучала только русская речь, в дом приходили русские газеты и журналы, которые выписывал отец, и ни во дворе, ни на улице, ни в школе он не общался со сверстниками-узбеками – их просто не было рядом. С узбеками он встречался только на базаре – и объяснялся с ними на русском языке. И когда его позже спрашивали, почему он, так долго живя в Узбекистане, не удосужился выучить узбекский язык, он вынужден был сослаться на свое детство, которое прошло в чисто русской среде, и на отсутствие способностей к языкам, что тоже было чистой правдой, ведь он и английского не выучил, хотя очень старался одно время. Вот его институтский друг Вячеслав Ковалев вырос в махалле и отлично говорил по-узбекски. Но знание языка не остановило его от переезда в город Иваново, где его семья расцвела по-настоящему, преуспев на ниве предпринимательства. «Если бы сейчас здесь, в Узбекистане, русские жили с русскими, а узбеки с узбеками, всем было бы куда удобнее, - подумал Серафим Павлович. – Ведь существуют же в больших американских городах кварталы чисто итальянские, негритянские, китайские, латиноамериканские».

Итак, их семья выделялась достатком, и во дворе это было заметно. Не жаловались на жизнь и Лодыгины, на их столе тоже часто появлялись деликатесы. Другие семьи жили много скромнее. Отец был большим книголюбом и приносил книги чуть ли не ежедневно – и по своей специальности, и художественную литературу. И Серафим рано полюбил чтение. Его первыми книгами были «Жизнь животных» – дореволюционное богато иллюстрированное издание с ятями и ижицами, «Земля Санникова», «Спартак» и что-то еще тоже из хорошей литературы. Сказок он читал мало, они его не захватывали, и чисто детских книг, после «Одолеем Бармалея», почти не читал, стихата Агнии Барто и «Дядя Степа» Сергея Михалкова его не трогали. После шестого класса он уже читал очень много, чтение стало его любимым времяпрепровождением. «Порт Артур» поразил его воображение, и он потянулся к «Цусиме». «Угрюм-река» открыла ему новые горизонты жизни. А там пошли Майн Рид из богатой библиотеки Артамоновых, Джек Лондон, Александр Грин. Но до «Трех мушкетеров» он добрался не скоро. При нем часто произносили название этой книги, но он, еще не зная, что такое мушкет, воспринимал его как «Тримушке тера» и лишь много позже сообразил, что в названии книги лежит слово «мушкет». Другие книги Дюма пришли к нему позже и были на голову ниже.

Сам двор Серафима-мальчика не привлекал, он отовсюду просматривался насквозь, а Серафим не переносил чужого любопытства, подсматривающего взгляда. Но за домом был закуток, от всех заслоненный стенами и забором, никем не посещаемый, кроме соседских собак (своих во дворе не держали), тихий, то есть вполне подходящий. Там и играл Серафим сам с собой. Что-то копал, сооружал, строил, формуя кирпичики с помощью спичечного коробка. Разводил костерок и смотрел на живой огонь. Воевал с осами, гнезда которых были прямо в торцовой стене. Удачный взмах пучком тонких ивовых прутьев, и поверженная оса падает на землю. Ура, сбит еще один вражеский самолет! Позже он ставил в этом закутке свою раскладушку и спал – без приключений. Однажды глубокой ночью кто-то перелез через забор. Это был Виктор, младший из Бочаровых, Наверное, возвращался со свидания.

Вокруг дома со стороны арыка росли тополя, высокие, пирамидальные, заматерелые. На их ветвях была масса воробьиных гнезд. Тополя буквально кишели воробьями, их гомон походил на морской прибой. Когда на город обрушивались весенние ураганы, тополя гнулись и стонали, а из воробьиных гнезд выпадали птенцы и яйца. Не выдержав натиска грубой стихии, подточенные древоотцом стволы переламывались пополам и с грохотом падали на крышу, на дорогу. На кровельном железе оставались рваные раны, которые долго никто не залечивал. Тополь на проверку оказывался хрупким, ломким деревом, зато рос удивительно быстро.

Улицу перед своими окнами Серафим поливал черпаком из жести, насаженным на деревянный черенок. Отец неукоснительно следил за тем, чтобы к его приходу улица была полита. Тогда машины, проезжавшие мимо, не пылили, да и в комнатах становилось прохладнее. Это было однообразное занятие. Серафиму приходилось прихватывать и соседние участки. Ни Прокопенко, ни Жуковы поливать улицу не любили. Позже, в зрелые годы, Серафим Павлович описал квартиру на улице Буденного в повести «Пики Тянь-Шаня» и рассказе «Несбывшееся», грустном, почти ностальгическом. Он якобы выменял их старую квартиру, отдав за нее комфортабельную, в престижном районе, и даже как-то попытался восстановить игру в солдатики, так любимую им в детстве. Но прежнее мироощущение к нему не вернулось. Все свое время, понял он. Это и стало выводом: всему свое время. Все проходит, как сказал великий Соломон. Только хорошее проходит быстрее, чем плохое. Но следы отца и матери на дорожках двора он видел почти явственно. И какая добрая у отца была улыбка! Лучезарная была у него улыбка.

Первую свою школу в старом городе Серафим Павлович не запомнил совершенно, он ходил в нее всего месяц, ну, два. И вторую школу, на улице Первомайской, он не запомнил, он тоже ходил в нее недолго. Вскоре их первый класс целиком перевели в школу № 37, которая состояла на бюджете железной дороги. В нее Серафим и ходил все десять лет, а потом всю жизнь вспоминал добрым словом. Очень часто он вспоминал школу и однокашников просто так, вроде бы без всякого повода. Ибо всегда приятно было погружаться памятью в доброе старое время, ушедшее насовсем, насовсем. Насовсем ли?

До школы было минут десять неспешной ходьбы. Квартал по улице Буденного, поворот направо, квартал по улице Мичурина, под тополями и акациями. Со спуском вниз, к мосту через Салар, и квартал после Салара, до ворот, за которыми начинался просторный школьный двор. Вот и весь путь, менее километра, метров восемьсот, наверное. Двор выходил к железной дороге, к которой школа была обращена фасадом. Она стояла строго посередине двора. Другой своей стороной двор упирался в Салар. Левый берег Салара являл собой отвесный четырехметровый обрыв. Будь Салар глубоким, с обрыва бы ныряли – и вниз головой, и «солдатиком». Но Салар был глубок лишь местами. Каждое такое место оберегалось купальщиками, которые очищали себе от мусора площадочку для загара, строили глиняный трамплин, с которого ныряли, и оберегали росшее рядом дерево, которое давало тень.

Между Саларом и зданием школы размещалось футбольное поле, примерно в две трети стандартного. Оно не пустовало ни летом, ни зимой. Газона зеленого на нем, естественно не было. Никакой газон на нем бы и не удержался. По периметру двора шла беговая дорожка протяженностью, кажется, 480 метров. Так что финиш километровой дистанции был впереди старта. Следовательно, школьный двор представлял из себя прямоугольник размером 150 на 100 метров. Школа была построена, скорее всего, перед войной, из прекрасного жженого кирпича, высокая, одноэтажная, с высотой классов не менее 4,5 метра. Со стороны улицы Першина (железная дорога пролегла как раз по ее середине) к школе вела широкая парадная аллея с цветниками, чаще всего, запущенными. А справа и слева росли клены, акации, туюльник. Не многие школы в городе могли похвастать таким просторным двором и таким футбольным полем, но это Серафим Павлович осознал несколько позднее.

Классы вмещали до сорока человек, и занятия велись в две и в три смены. Так что Серафим ходил в школу и к восьми часам, и к одиннадцати, и к двум, чаще всего, к двум. Уже после того как он кончил десять классов, к школе пристроили спортивный зал и какое-то количество классных комнат. И сразу двор скукожился, сжался, потерял свою изначальную прелесть. От футбольного поля остались рожки и ножки, что-то вроде волейбольной площадки. Ему же школа запомнилась одноэтажной, с коридорами по обе стороны вестибюля, с кабинетом директора в тихом закутке, куда вела дверь из учительской, с голландскими печами, топки которых выходили в коридор – теперь их, конечно, заменили батареями центрального отопления.

От школы у Серафима осталось несколько впечатлений, которые наслаивались одно на другое, видоизменяясь по мере расширения кругозора и общего взросления. Первое впечатление касалось начальных классов, с выделением первого класса, в котором он научился чтению и письму, а считать он умел и до школы. В первом классе он получил больше, чем ему дали второй, третий и четвертый классы, вместе взятые – в них, по существу, разжевывалась и дополнялась программа первого класса. Естественно, он не мог еще дать оценки ни учителям, ни методике преподавания, которой они держались, ни их интеллекту. Не мог он соотнести и полезности полученных в первые годы обучения знаний с затратами труда и времени на их приобретение. В те годы десятилетку оканчивали только те, кого родители готовили к поступлению в институты, а остальные (их было процентов шестьдесят) довольствовались семилеткой, профессию получали на заводах и стройках, непосредственно на рабочем месте. Серафим запомнил, что начальные классы, кроме первого, дали ему немного. Ну, закрепили навыки читать, писать и считать. Семилетка мало чего к этому добавила. Ну, история с географией, ну, немного физики и химии. Ну, знакомство с азами английского языка, которое свелось к изучению латинского алфавита и вызубриванию двух-трех сотен слов – больше, кстати, он не запоминал никогда. Предложения из этих слов никак не хотели составляться, о произношении и говорить нечего, оно было ужасным.

До пятого класса Серафима учила степенная и почтенная Мария Васильевна: внушительная фигура, четко поставленный голос, очки, благородная седина и изначальная, не перечеркнутая никакими жизненными испытаниями доброта. Затем бразды правления над классом взяла Валентина Николаевна, по прозвищу Лиса – женщина, собой не видная, невыразительная и мало на что способная. О семилетке у Серафима осталось самое посредственное впечатление. Он мало чего получил от этих лет, мало чего вобрал в себя. Да, какое-то время русский язык у них вела Пля-Пля. От этой учительницы в памяти осталось одно прозвище и длинное, почти до пят, черное платье из тонкой материи, какой оббивают гробы, и надкусанный пончик, который она, вечно голодная, выронила из рук, когда какой-то оболтус с разбега врезался ей в спину и тотчас растворился в общей массе, не подумав извиниться. Пля-Пля, Пля-Пля! Был в его подростковой жизни и такой человек, вечная ему память!

В старших классах Серафим постепенно начал чувствовать себя личностью, человеком. Появились учителя, которые учили не заучивать, не запоминать механически, но думать, сопоставлять, соображать, анализировать. Появился стойкий интерес к окружающему миру, связанный с постижением его огромности и многоликости, с пожеланием всяческих благ и преимуществ своей стране, которая возглавляла прогрессивное человечество и которой Америка, сытая, реакционная, богатая и беспардонная, во всем мешала. Сыграл свою роль и комсомол. На комсомольские собрания приглашались девушки из параллельного класса женской школы – тогда еще существовало раздельное обучение. С их появлением все сказочно преобразовывалось и начиналась совсем новая, совсем неизведанная жизнь. И на вечера уже приглашались девушки. И на литературные диспуты. Диспуты велись с параллельным классом женской школы, где блистали отличницы Ада Герасименко и Людочка Голованова. Что это были за диспуты, что за вечера! Преподаватель русского языка и литературы мудрая Ирина Александровна Гукова не присуждала победы ни той, ни другой стороне, диспуты неизменно завершались вничью, к общему, надо сказать, удовлетворению. Побеждала дружба, границы мира чувств странно расширились.

Старшие классы и запомнились Серафиму открытостью мира, неведомой ему прежде, и первыми влюбленностями, и патриотизмом, и многим другим. Это время он помнил с благодарностью, как и учителей своих, среди которых оказались настоящие мастера народного образования. Уже потом, когда он учился в институте, и в первые годы работы, ему снилась школа, и очень хотелось вернуться в десятый класс, очень хотелось повторения пройденного. Значит, тогда ему было действительно хорошо, светло, раскованно, привольно. И, наверное, никогда он не был таким искренним, таким страстным патриотом своей страны, как в те благословенные годы. Серафим Павлович знал, то есть был искренне убежден, что его страна – лучшая в мире, самая справедливая и самая передовая, что все народы Земли должны соединиться под всепобеждающим знаменем марксизма-ленинизма. Да, из стен школы он вышел с твердой уверенностью в том, что его страна – пример для всех. Она повергла в прах гитлеровскую германию, она не позволила Соединенным Штатам Америки закабалить героическую Северную Корею, она... Его ум мгновенно просчитывал варианты развития, сулившие его стране скорое мировое первенство в выплавке стали, производстве нефти, электрической энергии. И откуда было ему знать, что за границей, или, как тогда говорили, за железным занавесом люди живут лучше?

Узнать об этом ему, конечно же, пришлось, но в другое время и при других обстоятельствах. Да, он вступал в жизнь с высокими патриотическими чувствами. Теперь, спустя столько лет, он может свидетельствовать: эти чувства никогда не были помехой, но всегда помогали. Они помогали стараться для родной страны, жить для ее блага.

Школа оставила в его багаже золотую медаль. На память. По большому счету, он был более достоин серебряной. Некоторая натяжка присутствовала в его золотой медали, некоторое послабление. Круглым отличником он не был никогда. К счастью, сейчас это не имело ни малейшего значения. Он поплавал на выпускном экзамене по математике, но все остальные барьеры выпускного марафона преодолел достойно. И вот школа позади, а впереди студенческая жизнь. Он входил в нее без знания английского языка, и без знания узбекского языка, и без глубокого знания человеческих отношений, но с достаточным знанием географии, родной литературы, математики, физики, химии. Со знанием истории через призму классово-борьбы.

Много позже, видя, как учат его детей, Серафим Павлович пришел к выводу, что его учили лучше. Более старательно, что ли. Более добросовестно и душевно. А как их костерили за леность и эгоизм на родительских собраниях! Как скребли и драили, как стыдили. Они должны были держать отчет, что не будут больше... Да, кто-то всегда будет спрашивать, почему ты не сделал того-то и того-то, подумал он. Ну и что? Того, что он сделал, ему пока хватало. Он и раскрыл себя, и реализовал. «Частично, только частично», - захотелось добавить ему, для прояснения истины. Его последние романы так и не вышли отдельными книгами. Возможно, они никогда не увидят света; он к этому почему-то не стремился. Почему-то притупилось, почти атрофировалось желание издаваться. Суета сует все это. Или обыкновенное иссякание жизненных сил и жизненных соков?

Он давно не ходил на традиционные вечера встречи с выпускниками. Напрасно, конечно. Хотя, кого он там сейчас встретит? Молодую поросль, которая будет взирать на него, как на мастодонта. Дистанция почти непреодолимая, подумал он. Его школа описана в повестях «Тал-арык остается в детстве» и «Пики Тянь-Шаня». Вторая повесть ему нравилась больше, это уже не юношеская проба пера. А об учителях своих и друзьях школьных он еще расскажет. В 1966 году Юрий Кружилин, тогдашний заведующий отделом информации «Правды Востока», не опубликовал его репортаж «Первая суббота мая» - о традиционной встрече выпускников его школы. «Ты опоздал, - сказал Кружилин, - сейчас не май, а начало июня (как будто это могло иметь серьезное значение). Но, старик, ты все хорошо уловил. И грусть у тебя какая-то добрая, меня проняло». Это была похвала, редкая в устах самолюбивого маэстро. К

сожалению, рукопись репортажа была утрачена навсегда, черновика он не сохранил. Жалко. Очень жалко всего того, что уходит и потом не возвращается.

Да, радовала ли его когда-нибудь школьная золотая медаль? Согревала ли? Задав себе эти вопросы, Серафим Павлович пожал плечами. Она обеспечила ему свободное лето перед институтом. Хотя через семь лет в университет, на заочный факультет журналистики, экзамены сдавать пришлось, но это уже было другое время. На первой сессии в ирригационном институте он получил только четверки и институт окончил без отличия, хотя пятерки у него преобладали. Таким образом, подтверждения золотой медали отличной учебой в вузе не последовало. Значит, какая-то натяжка все-таки была. Впрочем, это давно уже не имело никакого значения. Последний раз свою золотую медаль он держал в руках десять лет назад и плохо помнил, где она хранится.

Глава 7

Зимы в пятидесятые годы были снежные, а часто и холодные, не как сейчас, на рубеже тысячелетий. Снега ждали, снег любили – не мокрый мартовский, а нормальный декабрьский или январский, который не таял на следующий день. Он мягко ложился на землю, снежинки кувыркались в воздухе, движимые, помимо силы тяжести, еще и ветром. И смотреть, как идет снег, было приятно. Нет, зима определенно нравилась Серафиму, и нравилась снегом, укутывающим мокрую землю. Конечно, еще существовала и слякоть, до снега и после снега. Но на нее можно было не обращать внимания. К зиме готовились. Дом утепляли, заклеивали щели между рамами, затыкали их ватой, заготовливали уголь и дрова (для них существовала кладовка во дворе), проверяли, не обветшала ли одежда и обувь, выдержит ли еще сезон. Что-то по необходимости обновлялось – но не по диктату моды! И одежда, и обувь носились долго, до полного сноса.

«Зима и детство, - подумал Серафим Павлович, вспоминая. – Это голландская печка, пышущая теплом. Это новогодняя елка. Это санки, и это игра в снежки!»

Снежки он любил, пожалуй, больше всего. Снег выпадал как бы вдруг, ничто его не предвещало, кроме календаря. Но потом хмурилось небо, и белые хлопья прятали отдаленные дома и деревья. Хотелось, чтобы снега выпало много и чтобы он не таял. И когда снега действительно выпадало много, мальчишки доставали коньки и санки. Санки у Серафима были, а коньки ему купили лишь однажды, в четвертом примерно классе, и потом они затерялись (или кто-то их выклячил!), о чем он не жалел. Пацаны лихо разъезжали на коньках, ладьеобразных «снегурочках» или остроносых «дутьшах», прикрутив их веревками к валенкам или ботинкам. Специальной обуви для катания на коньках ни у кого, естественно, не было. Пацаны цеплялись за грузовики, поджидая их на поворотах, где машины сбавляли скорость, и неслись, а комья снега из-под колес облепливали им колени и полы телогреек.

О том, чтобы встать сразу на два конька, нечего было и думать. Ноги у Серафима разъезжались, коньки на обуви сидели неплотно. Но скользить на одном коньке он выучился. Катание на одном коньке походило на езду на самокате: все время приходилось отталкиваться левой ногой. Особого удовольствия он не получал, в увлечение это не переросло, тем более что стояние и езду на двух коньках он так и не освоил. Санки ему нравились больше. На санках он катался с сестрой, с друзьями и сам. От быстрого бега становилось тепло, зимы и не чувствовалось. Подходящая горка для спуска на санках была у Салара, и там собиралось много детворы. Санки скатывались вниз сплошной вереницей, часто наезжая друг на друга. Поднималась веселая суета, и некоторые мальцы так вываливались в снег, что их черная одежда становилась белой.

Став подростком, Серафим с горки на саночках съезжать перестал. Не престижно, всему свое время. В снежки же он играл с великим удовольствием. Тренировался во дворе. Горлинка ли садилась на забор, - снежок летел в горлинку, спугивая ее. Кошка ли кралась вдоль двора, волоча по снегу тощий рыжий живот – снежок взрывал снежный покров рядом с ней, она замирала от неожиданности, потом делала резкий прыжок в сторону. Отец ли возвращался с работы – Серафим осыпал отца плотным градом снежков, и он поднимал как щит свой пухлый портфель и увертывался, уклонялся, но разве увернешься, разве спрячешься от такой массы снежков? Три-четыре белых отметины на пальто отца оставались, а последний снежок рассыпался, со вкусом ударившись в дверь, спешно прикрывающую.

В закутке за домом можно было налепить из снега солдатиков, расставить их в атакующую цепь, а потом обстреливать их сначала с дальней, затем и с ближней дистанции. Шла по улице машина – он бросал, укрытый воротами, три-четыре снежка вертикально вверх, и они падали на улицу рядом с машиной сверху, вздымая фонтанчики. Водителю не было видно, откуда они прилетают. Но куда ярче, куда горячее были сшибки на заснеженном поле с параллельным классом «Б» (сначала класс «Б» был пятым, потом шестым, седьмым и, наконец, десятым). На эти сшибки их класс мобилизовал все силы, но класс «Б» отличался завидной сплоченностью, и если на одной из перемен поле боя оставалось за дружными соперниками, то на

следующую с командой Серафима выходил флегматичный тяжеловес Рафик Янбулатов, борец-перворазрядник, и, принимая на себя град снежков, не позволял своим пятиться. Забыв о времени, о звонках, они играли до изнеможения, до седьмого пота. Да, ни один урок физкультуры, ни один футбольный матч не выжимал из них столько пота, сколько выжимала эта забава. Серафим лепил снежки один за другим, а потом метал их в живую цель, беря на прицел того паренька из класса «Б», который в этот момент ожидал нападения с другого направления. Звонки лишь подстегивали накал сражения. Они вваливались в класс минут через пять после звонка, смешивая объяснения учителя, мокрые, распаренные, счастливые. Потом минут пять они приходили в себя. Потом уже можно было заниматься делом.

Да, вот еще что. Он умел метнуть снежок хитро, исподтишка, и удивительно метко. В школьном дворе, перед занятиями полным детворы, он прицеливался в какого-нибудь далеко отстоящего пацана в шапочке-ушаночке, и запускал снежок почти вертикально вверх, словно выстреливал из гаубицы, и сразу отворачивался. Снежок летел долго-долго, секунды три-четыре, и траектория его вдруг обрывалась подле намеченной цели, а то и на самой шапочке-ушаночке. Чмок – и снежок разлетался на маленькие кусочки. Серафим не лепил его слишком плотным, он не собирался сделать своей жертве больно. Да, да, иногда, и совсем не редко, он удивительно точно накрывал цель. Поди, узнай, откуда прилетел коварный снаряд. С неба свалился! Попадание в цель не имело последствий, если не считать недоумения живой мишени и приятного возбуждения, охватывавшего стрелявшего.

Жаркие получались у них сшибки с классом «Б». «Это и есть неизгладимое», - подумал он. Однажды, когда, налепив много снежков, он стал орать «Ура!» и повел своих вперед, посылая снежок за снежком, ответный снежок, брошенный чьей-то расторопной рукой, угодил ему прямо в широко раскрытый рот. Крик захлебнулся, а с ним захлебнулась и атака. Разве такое забудешь? «Почему класс «Б» был дружнее? – спросил себя Серафим Павлович. – Потому, что у них верховодил Альберт Аталиев?» Вероятно. Альберт, золотой медалист и запевала самых разных начинаний, потом стал врачом, и очень хорошим. Женился он тоже по школьной любви. Энергия в нем кипела. Он постоянно что-то придумывал и эти придумывания осуществлял. Он мог в минуту-другую организовать футбольный матч или вечер танцев. И ребята из класса «Б» как один шил на его зов. «Потрем снежочком розовые щеки мальчишкам из класса «А!» - говорил он своим, и те высыпали как один, отступничество наказывалось у них обструкцией. Да, в их классе не было такого взрывного, неумного парня. Такого искрометного. Такого обаятельного. Такого спортивного. Такого умницы. И чтобы все это соединялось в одном лице.

Как-то Серафим Павлович попробовал поиграть в снежки с сыном. Прошлое не повторилось, он получил совсем иное впечатление. Теперь это не был мальчишеский позыв души и тела. И он сказал себе: «Все мое время». Это было непреложно.

Новый год всегда пах елкой. Отец непременно покупал елку дней за пять до праздника. Когда Серафим подрос, отец стал брать его с собой на елочные базары. Если елка казалась отцу недостаточно пушистой, густой, он покупал две и составлял их вместе. Вся семья наряжала зеленое деревце. Дети клеили цепочки из белой бумаги, заворачивали в фольгу орехи, вешали стеклянные игрушки, конфеты, у ствола ставили деда-мороза, клали подле него вату. Подарки состояли из сладостей и каких-либо обнов. Старшим, пожалуй, даже больше нравились эти предновогодние хлопоты, чем детям. Новогодние торжества проходили всегда традиционно, без всплесков выдумки и полета фантазии, с хождением в гости и ответным приходом гостей, с приветствиями и пожеланиями. Отец писал не менее сотни поздравлений и столько же получал. Вся иногородняя родня обменивалась поздравительными открытками в обязательном порядке.

Серафим Павлович не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь сильно радовался новогоднему подарку. Вот сам праздник – другое дело. Сам праздник был неизмеримо емче и радостнее подарка.

Глава 8

Школа подготовила Серафима Павловича к жизни академично, абстрактно. Вообще. Но основное, что он должен был вынести из школьных стен, он вынес. Он вынес умение думать, анализировать, сопоставлять. Взвешивать. Еще он научился фантазировать, но школа к этой его привычке или способности едва ли имела прямое отношение. Какие разные у них были учителя! Какие не похожие друг на друга! Обыкновенные и необыкновенные, тусклые и яркие. Личности и не личности. Кого-то он, возможно, не разглядел, не запомнил, кому-то не отдал должное. Но тех, кого он разглядел и запомнил, он едва ли переоценил. Они стоили того, как он о них думал.

Иван Васильевич Ребров преподавал физкультуру. Урок этот любили уже по той причине, что к нему не надо было готовиться. Он был как бы продолжением большой, шумной перемены. Любили и Ивана Васильевича. За что? А ни за что. За собранность и целеустремленность – его подопечные часто брали призы на разных соревнованиях. За четко поставленный командирский голос, - в старших классах офицер

запаса Ребров преподавал также военное дело. За незлобивость. За преданность спорту. На школьные вечера Иван Васильевич, надзиратель порядка, часто приходил на взводе, после ста граммов. Но это ничуть не роняло его авторитета. Сухощавый, верткий, как живчик, он попевал везде, и везде раздавался его зычный, прокуренный голос. К сожалению, не в школьные годы, а много позже Серафим Павлович пришел к выводу, что физкультура в средней школе – самый нужный, самый полезный урок, важнее всех прочих предметов. Ибо с ее помощью достигается здоровье, физическое и духовное.

Крепкое, сильное, ловкое тело – предмет мечтаний каждого юноши. Здоровое, неутомимое тело – предмет надежд каждого мужчины. Неубывающая сила предмет мечтаний каждого старца. Иван Васильевич знал свое дело. Участник войны, патриот своей страны и своей школы, он был понятен и близок своим подопечным. Его отличала преданность спорту в целом. Такого не было, чтобы он боготворил футболистов и недолюбливал боксеров. Он воспитывал легкоатлетов и гимнастов, футболистов и волейболистов. Уважал борцов и боксеров, которые тренировались в спортивных клубах. Как многие фронтовики, он был равнодушен к спиртному, и лицо его иногда неестественно бронзовело. Традиционные сто граммов он мог принять и днем, и ближе к вечеру. На его манере поведения выпитое не сказывалось, но он становился мягче, деликатнее, в нем пробуждалась склонность к задушевному разговору, философичность. Серафим тесно с ним не общался, он не числился ни в списках спортивной гвардии школы, ни среди завсегдатаев футбольного поля. Он не мог пробежать километровую дистанцию – ему не хватало воздуха. Да, да, как ни странно, учась в школе, он ни разу не пробежал километровку. Потом – да, но не в школе.

Все десять лет, что Серафим учился, Иван Васильевич медленно усыхал, сморщивался, что ли, как сорванное яблоко от длительной лежки. Привычки же его и командирский голос не менялись совершенно. Беговые дорожки и футбольное поле у него всегда были аккуратно размечены и политы. Спортивный зал с гимнастическими снарядами появился в школе позже, в шестидесятые годы, когда к старому зданию прилепили несколько новых классов. Пристройка смотрелась, как инородное тело.

«Иван Васильевич Ребров атлет, за ним нам не угнаться. Он до конца годов готов за грамоты и водку драться», - вспомнил Серафим Павлович свои школьные строчки, посвященные почитаемому преподавателю физической культуры. Корявые, грубые, искренние строчки. Других он о Реброве не написал, может быть, сейчас напишет. Поэта из него так и не получилось. Уважение же к Ивану Васильевичу он сохранил, за его великую преданность делу.

В старших классах русский язык и литературу преподавала Ирина Александровна Гукова. Молодая – было ей тогда лет тридцать или поменьше, красивая, энергичная, она оставила след не только в его душе. Ирину Александровну любили в обоих классах, «А» и «Б». Ее стараниями в заскорузлые, циничные подростковые души были заложены семена добра и высокой требовательности к себе. Казалось, Ирина Александровна излучает свет. Светились ее глаза, лицо, волосы, руки, одежда. «Нас она любила, но не переоценивала, - вспомнил Серафим Павлович. – Случалось ей и гневаться, и тогда лицо ее покрывалось бордовыми пятнами. Кончик носа белел, голос нервно срывался на крик, и она...» Да, и она, их богиня, умела гневаться, умела употреблять злые, несправедливые слова, разносить в пух и прах – за лень и скудоумие. Зато сколько потрясающе приятных мгновений доставили ее диспуты, что-то среднее между учебой и игрой, в которой страстно хочется одержать верх. Вот где они старались, вот когда они выкладывались! Слово судьба их решалась на этих прекрасных вечерних форумах.

Но сначала не о диспутах, о них позже. Сначала о том, как после бесцветной, точнее, обыкновенной Валентины Николаевны Лисовой (Лисы) у них появилась блистательная, импозантная Ирина Александровна. Когда она впервые вошла к ним, восьмиклассникам, в класс, они оторопели. Они смотрели на нее долго, неотрывно, словно циркачка загадочная вдруг возникла перед ними. Перед ней молва бежала, и кое что они уже слышали: у Ирины Александровны были ослепительные возможности. Но она быстро погасила жадное пламя в их восхищенных глазах. В первый же день после каникул она заставила их писать диктант, и выявилась потрясающая, вопиющая безграмотность: семнадцать двоек, три четверки, остальные тройки. Она показала им их место: вот ваши знания, вот что вы можете и умеете. Слово великий, могучий русский язык – не ваш родной язык! Она их пристыдила в присущей ей манере шадящего разноса, мол, что с вас, несмышленишей, взять! Но это не возымело глубокого воздействия. Их все стыдили, и поэтому им не становилось стыдно. Тогда она поручила проверку их сочинений девочкам из параллельного класса соседней женской школы, а им дала проверить сочинения девочек. А потом был совместный вечер, с торжественной частью и танцами.

Что тут поднялось! Кажется, половина класса записалась в публичную библиотеку, чтобы углубить свои знания о Пушкине и Лермонтове. Никто не хотел, чтобы его сочинение не понравилось, каждый жаждал похвал и восторгов. Некоторые пытались прыгнуть выше себя, и, ведь, удавалось это, удавалось! А потом начались диспуты. Все стали приходить в школу в отглаженных брюках и чистых рубашках. Класс

подтягивался на глазах, мальчишество оставлялось за дверью, чистые сердцами юноши ловили каждое слово своего любимого учителя. Ирина Александровна лукаво улыбалась.

Первый диспут был посвящен творчеству Пушкина. Пришли девочки из школы № 39, чинно сели, все в форме (на мальчиков почему-то форма не распространялась), все в коричневых шерстяных платьях и белых фартуках, а пионерские галстуки заменены комсомольскими значками. Да, было на что посмотреть, было от чего прийти в великое смущение. Два доклада делали мальчики, два – девочки. Мальчику оппонировала девочка, девочке – мальчик. Выступить могли все желающие. Высшая оценка за доклад была пять баллов, за оппонирование – 4 балла, за выступление – 3 балла. Пожалуйста, растекайся мыслью по дереву, пожалуйста, дерзай, излагай свое мнение, если оно у тебя есть!

И диспуты эти озарились невиданным светом мальчишеского старания. Ученики невидные и недалекие, середнячки постоянные странно преображались – их становилось интересно слушать. И то же самое происходило с самыми посредственными ученицами. То, чего не мог добиться учительский окрик, получалось как бы само собой, и куда лучше получалось, чем под прямым учительским нажимом. Ну, а отличники прилежно задавали тон. У девушек сверкали отличницы Ада Герасименко и Людмила Голованова, кстати, большие подруги. У ребят вне конкуренции были Альберт Аталиев, Юрий Сирота и Олег Суханов. Так происходило вхождение в новый, неведомый мир с интригующим названием «Женщина». Чувство полета возникало, чувство парения в беспредельности. Нет, Ирина Александровна знала свое дело. И, в отличие от мужиковатого и приземленного Ивана Васильевича Реброва, который тоже был предан своему делу, работала артистически, достигая высочайшей степени самовыражения.

Девочки бессознательно копировали ее манеры, ее улыбку, чаще снисходительную и с оттенком превосходства, нежели благосклонную, ее прическу. Она, конечно, больше любила себя, чем Иван Васильевич. Но ее хватало и на то, чтобы любить своих учеников, и потому на ее самолюбование, часто слишком заметное, не обижались. Ей прощались и перепады настроения. Она могла быть «не в духе» – ну и что, она живой человек. Они любили Ирину Александровну такой, какой она была – со всеми неровностями ее эмоционального характера. В те годы местные газеты помещали объявления о разводе. Они узнали, что она разошлась с мужем и жила одна. Как-то она заболела, они зашли проведать ее. Им открыли дверь в маленькую комнату, в которой много места занимала кровать. На кровати под красивым одеялом и лежала Ирина Александровна. Они вдруг засмутились, ступевались, не знали, как себя вести. Говорила она одна, они не знали, о чем говорят в таких случаях. Она опять снисходительно улыбалась.

Ах, какой феерический диспут она устроила по творчеству Маяковского и Есенина! Они уже вошли во вкус, они уже учились в выпускном классе, и учителя говорили им «вы». И многие уже старались не вообще, а в надежде на похвалу какой-нибудь одной девочки. Это удваивало, утраивало рвение. Они увидели больше, чем вмещал в себя учебник. Они увидели обреченность гения на страдание – и на заклятие. Страдание, заклятие во имя чего? Тут и полились страсти, тут и началось столпотворение мнений. Поклонников Есенина оказалось больше. Но ни один поклонник Есенина не принизил Маяковского, как ни один поклонник Владимира Владимировича не бросил камень в звонкоголового рязанца, который легко достигал горних высот. Диспут прошел просто прекрасно. На танцы не осталось времени. Ребята пошли провожать девушек. В воздухе была разлита весна, и каждый знал, что это больше не повторится.

Доведя их классы до выпуска, Ирина Александровна уехала. Поселилась в Белгороде, защитила диссертацию. Наверное, преподавала в педагогическом институте. Кто-то из класса «Б» поддерживал с ней связь, но не Серафим Павлович. Когда ему дали ее адрес, для поздравления с шестидесятилетием, он написал – но только один раз. Вспоминал же он ее часто и всегда с благодарностью, как достойную представительницу всего советского учительства.

Куратором, или классным руководителем, у них был Михаил Константинович Прокофьев по прозвищу «физик». Еще одна примечательная, еще одна неординарная личность! Когда Михаил Константинович впервые открыл дверь в их класс, они воззрились на него, как на чудо какое-то. Мужик во цвете лет, почти двухметрового роста, угловатый, крепкий, рыжий, с улыбкой, которая, кажется, не прерывалась никогда. Угловат он был во всем. Угловат и прямолинеен. И плечи его были угловаты, с упором на шарнирные соединения, и манеры. Говорил он резко, как бы рубил с плеча, но обидных слов никогда не употреблял. И неизменно улыбался. Его улыбка исключала возражение, особенно наглое, циничное. «Я ваш классный руководитель», – объявил он. Очень долго они относились к нему снисходительно. Потом нейтральное прозвище «физик» было вытеснено нейтрально-уважительным Михаил. Потом они все чаще между собой называли его «наш Михаил». Они быстро поняли, что он их любит. Но вить веревок из себя он им не позволял. Он был добр, но до известного предела. Когда он вскипал, тому, кто его прогневил, приходилось туго.

Как преподаватель, он был послабее, то есть поординарнее Ирины Александровны. Свой предмет он излагал академично, как положено, без фантазий и поощрений. Демонстрировал опыты, это получалось

весело. Но опыты по химии, переходящие в гульбу и бесчинство, классу нравились больше: химик позволял над собой потешаться. На них дым стоял коромыслом, каждый отводил душу, и лишь один беспомощный, безропотный химик тихо страдал. Спрашивал Михаил Константинович строго, ответами удовлетворялся редко. Большинство его подопечных в физических законах плавало и плавало. Его предмет шел так же тяжело, как математика, подростки в физику не врубались. В конце концов, он почти всем выставлял тройки, немногих удостаивал четверкой и иногда расщедрился на одну-две пятерки. Нет, как педагог он уступал Ирине Александровне. Ее влияние простиралось куда глубже.

Но как человек он был на высоте. Он, пожалуй, больше учил их человечности, чем своему предмету. Они поняли это не сразу, но когда поняли, оценили. Он учил их верности слову, обязательности (а они еще не привыкли быть обязательными), обстоятельности. Он учил их мужеству, стойкости, а также близости с природой. Последнее было для них совершенно новым. Он один раз повел их в горы, в многодневный поход, второй раз. Они шли, нет, бежали за ним, высунув языки, а на привалах с изумлением взирали на скальные массивы, на реку в белых бурунах, на березовый лес, на голубей, кекликов, орлов. Серафим Павлович ходил в такой поход лишь однажды, летом 1953 года. Но потом он сто раз повторил его, в разных вариантах, в одиночку или с сестрой и детьми, Аленой и Петей. Он навсегда сохранил благодарность Михаилу Константиновичу за то, что физик подарил ему горы. Он не стал ни охотником, ни рыбаком, хотя одно время у него была двухстволочка «Олень» тридцать второго калибра, нижний ствол нарезной, верхний конусный, гладкий, для стрельбы дробью. И на озера, кишевшие рыбой, он ездил с самыми удачливыми рыбаками.

Он стал ходить в горы, выкраивая на них время с удивительной ловкостью, с удивительным постоянством. Да, Михаил Константинович если и не привил им любовь к физике, то открыл многие другие вещи, не менее важные в жизни, чем законы Ньютона, Бойля-Мариота или Ома. Они не сразу уразумели, что обязаны Михаилу очень многим. Это открылось им позже, когда Михаила уже не было рядом. Но Серафим Павлович связи с ним не утратил и в общих чертах мог проследить его жизнь. Прокофьев недолго преподавал в школе. Вскоре он устроился в политехнический институт, в стенах которого запатентовал несколько изобретений (ну, могли ли они подозревать в нем склонность к изобретательству?). С помощью ультразвука он смешивал жидкости, которые не удавалось смешивать в обычных условиях – воду и масло, например. И в оборонке, и в лакокрасочной промышленности его изобретения пошли. На кафедре он приобрел вес и имя. Его страсть к дальним странствиям не улеглась.

В шестидесятые годы он собрал команду, двинул на Байкал, переплыл славное озеро, но не в омулевой бочке, конечно, пересек хребет, отделяющий Байкал от истоков Лены, соорудил плот и спустился на нем вниз, до железной дороги, преодолевая трудности, которые и присниться не могли обывателям, не знающим, что такое сон в лесу, на открытом воздухе, в обществе сибирского гнуса. Серафим Павлович уже работал в газете. Он написал очерк «Вниз по Лене-реке», и Михаил пригласил его на рыбалку, на Арнасай, на знаменитые разливы. Поехали. Серафим Павлович привез домой рюкзак рыбы, килограммов 25. Михаил вынимал подпуск, увешанный судаками, змееголовами, щучками. Рыба словно липла к его подпуску. Октябрь уже был, холодные ночи утихомирили комаров. Они порыбачили в свое удовольствие. Попили водочки, похлебали ухи. Второй такой рыбалки у Серафима больше не было. К этому времени он понял, за что еще они любили Михаила – за характер и душу первопроходца.

Потом у Михаила Константиновича умерла жена, и через какое-то время он женился на молодой женщине, которая, наверное, была близка ему и раньше. Однажды, не так давно, они встретились в переходе метро. У физика глаза полезли на лоб. «А мне сказали, что ты умер!» – воскликнул он, ошалело моргая. «Нет еще», - ответил Серафим Павлович с улыбкой. Михаил сильно постарел, сжался, съезжился. Его кудлатые палевые брови поседели и изрядно поредели. Они постояли, поговорили, но недолго. Они ничего не стали вспоминать. Кажется, точек соприкосновения заметно поубавилось. «Что делает время с человеком!» – подумал Серафим Павлович. И горько ему было сознавать, что то же самое время продельвает с ним. Еще он подумал, стал ли он бы тем, кем стал, без Ирины Александровны и Михаила Константиновича? Без десяти школьных лет, внешне беззаботных, но так плотно насыщенных постижением мира? Возможно, да. Потребность писать пришла к нему сама, без чьего-либо прямого влияния. И все равно эти люди передали ему исключительно много. Они как бы поделились с ним своим сокровенным. Это даже больше касалось души, нежели знаний.

Глава 9

Бабушка появилась в их семье в первый год войны, зимой. Вместе с тетей Мусей, ее дочерью и сестрой матери, она приехала из Симферополя. Было ей в то время 71 год, и звали ее Марией Мартыновной. Ровесница Ленина, подумать только! Она происходила из рурских немцев, которые

приехали на Украину при Екатерине, ею приглашенные. За долгую жизнь в России они обрусели, но не настолько, чтобы забыть свой язык, обычаи и поменять католическую веру на православную.

Почему бабушка, немка по национальности, не захотела остаться под немцами, оккупировавшими Крым? Скорее всего, она чувствовала себя более русской, нежели немкой. И еще потому, что рядом была Муся, настоящая патриотка. Возможно, были и другие причины. Вопрос этот прозвучал в душе Серафима Павловича позже, когда спросить ответа у бабушки уже было нельзя. Спросить об этом в свое время он не догадался. Итак, бабушка и Муся приехали и стали жить с ними. По нормам военного времени это было нормально. Нормальным, для отношений в их семье, было и то, что мать с радостью приняла их, обогрела и обласкала. Бабушка вела домашнее хозяйство, готовила и стирала и смотрела за внуками, которых с приездом Алика стало трое. Мать и Муся работали. Отец присылал с фронта аттестат – небольшая, но помощь. Посылки с продуктами и одеждой пошли уже в конце войны.

Серафиму-школьнику бабушка часто рассказывала о жизни в дореволюционном Павлодаре, где семья ее при одном работнике, Якове Ивановиче, жила в достатке и согласии. На стурублевую зарплату главы семьи, который был чиновником средней руки, жить можно было безбедно. Хозяйство бабушка вела умело, ее трудолюбие было естественным и неисчерпаемым, точнее, неиссякаемым, как животворный родник. К началу войны из девяти бабушкиных детей в живых осталось семеро. Двое сынов погибли. Костю, фельдшера, студента медицинского института, мобилизованного в белую армию, расстреляли красные. Не сразу расстреляли, а вскоре после завершения гражданской войны. Была объявлена регистрация всех, кто служил у белых, и Костя, не видя подвоха, на эту регистрацию явился, хотя его отговаривали не делать этого. И его в числе сотен других вывели за город и убили. Второго, Николая, лошадь ударила копытом в пах, и он промучился несколько часов и скончался от кровоизлияния в полость живота. Было это в середине двадцатых годов. В войну бабушка лишилась и третьего своего сына, Сигизмунда. Его, учителя, арестовали за неосторожно произнесенное слово по поводу сталинской оборонной стратегии, и через год, в 1942 году, он сгинул в одном из северных или казахстанских лагерей. Позже, через много лет, его реабилитировали. Ну и что? У тех, кто знал и любил Сигизмунда, камня с души реабилитация не сняла.

Жизнь в Павлодаре бабушка вспоминать любила, и из ее рассказов получалось, что жизнь эта была побогаче советской. У нее был просторный дом с подвалом, полный солений и варений, картофеля и лука, яблок и груш, муки, всевозможных круп, масла, окороков. «По приставной лестнице я поднимала на чердак мешки с мукой весом в шесть пудов!» – хвасталась старуха. Серафим представлял себе шаткую приставную лестницу и не верил. Как могла эта пусть ширококоштаная, пусть сильная женщина поднять наверх стокилограммовый мешок – и сохранить равновесие? Лишь много позже он поверил бабушке – когда убедился в ее железном, феноменальном здоровье. Кроме редкой крепости здоровьем, бабушка обладала необыкновенным трудолюбием. Она работала не покладая рук, работа была ее самым обычным, самым привычным состоянием. Она всегда что-нибудь делала: месила тесто, пекла или варила, стирала, мыла, штопала. Причем, она не была отменной кулинаркой, готовила только самую простую, бесхитростную пищу. Блюда изысканные ей не давались, она и не слыхала о них. Борщ, каша, клецки, вареники, картошка отварная с селедкой, холодец, пирожки с капустой, пирожки с яйцами и луком, кстати, очень вкусные...

Если вдруг обнаруживалось, что ей делать нечего, а ее дочери в это время что-то делали, она отбирала у них работу. Прямо вырывала из рук. «Посидите спокойно, я это сделаю!» Спала она в первой комнате, у стены, на деревянной кровати с упругой сеткой. Часов в десять она ложилась и вставала в шесть или раньше, всех кормила завтраком и отправляла на работу или в школу. И снова готовила, убирала, мыла, стирала. «Дуннер ветер!» («Дурная погода!») – восклицала она, когда что-нибудь выводило ее из себя. «Ты шмаркат (сопляк) противный!» – обрушивалась она на Серафима, когда он раздражал ее неподчинением или ленью. Иных ругательств она не употребляла. Отец всегда был к ней предельно внимателен. Она любила кофе – он покупал кофе в зернах, она молола их в ручной старинной кофемолке, сверкавшей медной оболочкой. Отец покупал ей книжечки на немецком языке с яркими картинками и крупным шрифтом. Она читала их, медленно шевеля губами. По-русски она не читала. Когда к ним приехал дядя Алоиз, ее первенец, она умоляла его достать средство от морщин. Ей, восьмидесятилетней, не нравилось, что у нее такие глубокие морщины. «С этими морщинами я такая старая!» – ужасалась она. Как будто в восемьдесят, а позже и в девяносто лет можно не быть такой старой. Дядя Алоиз все не присылал ей средства от морщин, и она сердилась: как же так, еще старший любимый сын, еще врач!

В девяносто лет она зацепилась стопой за щербатинку в полу, упала и сломала ногу. У нее, кажется, треснула шейка берцовой кости. И год, и два лежала бабушка – трещина не срасталась, она не могла подняться. Мать ухаживала за ней, подкладывала судно, мыла, обтирала камфорой, спасая от пролежней. «Когда же я умру?» – вопрошала старуха. Склероз быстро брал свое, разум ее мутился, и вскоре началось самое страшное. Бабушка громко звала давно умерших детей, а у матери, когда она склонялась над ней,

спрашивала: «Ты кто?» Пристально вглядывалась в нее и не узнавала. Восемь лет пролежала она со сломанной ногой. Это были восемь лет материнской каторги. Иногда наплывали минуты просветления. «Я еще жива? – спрашивала она, и слезы катились по ее дряблым щекам. – Почему? Мне давно пора быть там. Неужели мои просьбы не доходят до Бога?»

Серафим Павлович понял, что когда человек слишком долго задерживается на этом свете, это плохо для всех – и для долгожителя, и для его близких. Мать вела себя безукоризненно. За все восемь лет ни единого упрека не сорвалось с ее уст. Все время, пока бабушка была прикована к постели, мать ходила за ней, как за малым дитем. Потом воспаление легких сделало свое дело. Всего двух лет не дожила она до своего столетия. Не сломай она ногу, она бы легко перешагнула этот рубеж. Бабушку похоронили на Боткинском кладбище, на участке за церковью, где шестью годами раньше упокоилась тетя Саша (речь о ней впереди). Серафим Павлович долго не посещал ее могилы и забыл, в конце концов, где она. Попробовал разыскать и не смог. Еще раз попробовал и опять не смог. Справился в кладбищенской конторе – ему вежливо отказали в выдаче справки, сославшись на срок давности. «Однако, - упрекнул он себя, - как же тебе, миленький, не совестно?»

Как-то бабушка призналась, что мать, ее девятый ребенок, родилась тогда, когда она уже устала рожать. Действительно, в сорок два рожают только очень крепкие женщины. Но как раз мать сторицей возвратила ей свой дочерний долг. Одно медицинское светило как-то заявило, что человек вправе жить до тех пор, пока в состоянии обслуживать себя. Логично, и, наверное, справедливо. Только восемь последних лет бабушкиной жизни в эту логику не вписались. Разум отказал ей раньше, чем сердце. Серафим Павлович познал тогда, что такое старческий маразм. «Ты кто?» – неестественно громко спрашивала бабушка у матери, которая подкладывала под нее судно. И звала так, что слышно было во дворе: «Алоизий! Сигизмунд! Саша!» Но никого из них давно не было в живых, и мать тихо смахивала слезу и прикусывала губу, чтобы не заплакать.

Что чаще всего вспоминала бабушка? Конечно же, свою молодость. И свою зрелость. Революция бросила ее семью в пучину бед и испытаний. Ей уже было 47, все ее дети уже родились, матери шел шестой год, Алоизий был двадцатью годами старше и уже вел врачебную практику. Она стоически подчинилась законам военного времени. Но в ее память прочно впечаталось, как хорошо жила семья на сторублевую зарплату мужа, каким богатым был ее погреб и ее гардероб, как дешево все стоило на осенних ярмарках. Но, зная, что старое время осуждено властями (за что – она плохо себе представляла), она не позволяла себе вспоминать его часто. И она никогда не ругала день сегодняшней, не гневилась Богу несогласием с тем, что имела. Она спрашивала, сколько стоят продукты, принесенные с базара, и причитала: «Как дорого!»

«А кто были предки Марии Мартыновны и Якова Ивановича, моего деда?» – спросил себя однажды Серафим Павлович. О них он знал только то, что они были немцами из Мариуполя, истинно немецкого гнезда на Украине. Далее корни уходили в Германию, на Рейн. За дедом и бабушкой все обрывалось и по отцовской линии. Он помнил только, что одного его прадеда по отцовской линии звали Феликсом и была в нем изрядная примесь польской крови, а второго – Иваном. Кстати, один из прадедов по немецкой линии тоже был Иваном, второй – Мартыном. А как звали прабабушек? Кто они были, чем занимались? Вопросы повторялись, медленно затухая. Ответов на них он уже не получит никогда. Только одну из бабушек выпало знать Серафиму Павловичу – Марию Мартыновну. Ни одного своего деда он не застал в живых. Но по бабушке он мог судить о ее роде и о ее поколении. Это было поколение здоровых, жизнеутверждающих людей, не избалованных (или не облагодетельствованных) образованием. Они были крепки своими корнями, своими традициями, своим характером и умением работать без усталости. Последнее более всего подходило социалистическому обществу.

Среднюю бабушкину дочь (она была старше матери и старше Муси) звали Александрой. Тетя Саша вошла в жизнь Серафима в году так сорок шестом, когда она с мужем Василием Васильевичем Пахно приехала в Ташкент. Тогда прожили они у них недолго, обосновались в совхозе под Аккурганом. Стали там учительствовать, получили комнату в бараке и участок под огород. По тем временам это было вполне нормально. Тете Саше, кажется, вскоре исполнилось пятьдесят, дядя Вася был постарше. В войну они оказались на территории, оккупированной врагом, что имело для них негативные последствия. Василий Васильевич немцам не сопротивлялся и за это был исключен из партии. Переживал он это болезненно, так как виноватым себя не считал.

Тетя Саша рассказывала, как немцы эвакуировали их морем из Новороссийска в Крым. Как страшно было плыть в темном трюме, ожидая торпедной атаки или налета бомбардировщиков. В оккупации они помыкались, хлебнули лиха, а потом помыкались после освобождения, отвечая на бесконечные что, как и почему. В совхозе их, кажется, оставили в покое. На своей земле дядя Вася посадил арбузы, помидоры и кукурузу. Детей у них не было. От бабушки Серафим как-то услышал, что у тети Саши был жених, которого она любила, и дяде Васе поначалу она отказала. Но жених ее скорострительно скончался от сыпного тифа или от какой-то иной напасти, которых в гражданскую войну было не

сосчитать. И получилось так, что мужем ее стал Василий Васильевич. Тете Саше жилось с ним не сладко, из-за его пристрастия к вину. Два лета Серафим и Оля проводили каникулы в совхозе у тети Саши – один раз, когда Василий Васильевич был еще жив, и второй раз после его смерти. Василий Васильевич страдал грудной жабой (стенокардия, по-нынешнему, и атеросклероз, наверное), и какое-то медицинское светило, консультируя его, разъяснило, незадолго до смерти, когда помочь ему было уже нельзя, что если он тотчас бросит пить и курить, то, может быть, проживет год. Пить Василий Васильевич не бросил и года не прожил, прогноз медицинского светила сбился без отклонения в какую-либо сторону.

Лето в совхозе запомнилось Серафиму житием в шалаше на бахче (чуть ли не Робинзонада!), купанием в канале, вечерними играми в пятнашки и куликашки, полетом в совхоз на биплане «кукурузник» и возвращением в Ташкент на борту грузовика. Автобусного междугородного сообщения тогда не существовало, а железная дорога через Аккурганский район не проходила. И первое, и второе лето, проведенное в совхозе, не отложилось в памяти чем-то неповторимо ярким. Ну, шалаш посреди бахчи, ну, свежие арбузы. Ну, канал среднего размера с темными водорослями и плотным камышом по берегам. Ну, пыльная площадь перед баракком, которую нельзя было именовать двором по причине отсутствия забора. Ну, хождение за кизяком, то есть за коровьим и конским навозом, который использовался как топливо. Нет, мало у него отложилось в памяти о том далеком уже времени, мало. И Василий Васильевич мало чем запомнился, разве что хождениями в совхозную пивную, в которых Серафим его сопровождал.

После смерти мужа тетя Саша оставила совхоз и переехала жить к ним. Значит, отец не возражал против появления в семье еще одного человека, который на склоне лет очень нуждался в помощи и участии. Прежде она работала библиотекарем в школе или преподавала в младших классах. Пожалуй, ее роль в доме была схожа с ролью гувернантки. Она старалась опекать Серафима и Олю. Проверяла уроки, задания, помогала (очень старалась помочь), наставляла. Ей это было нужно. Серафим скоро осознал, что ему этого не надо, что это ущемляет его самостоятельность. Он прекрасно справлялся с домашними заданиями без чьей-либо помощи. И он стал уходить от опеки, как мог. Наверное, по этой причине между ним и тетей Сашей не возникло большой теплоты. Теперь он видел, что ему следовало быть терпимее, добрее, что он напрасно держал дистанцию с этой заботливой, но очень несчастной женщиной.

Тетя Саша немного играла на пианино. Году так в пятидесятом на семейном совете было решено, что Серафима пора обучать музыке. Иначе зачем в доме пианино? Пригласили Бланку Исааковну, наставницу по части фортепиано, и начались нескончаемые гаммы, фуги, прелюдии, фортепианные пьесы и т.д. Учение музыке быстро превратилось в мучение. К тому же, за него приходилось платить – 25 рублей за урок. Серафим с трудом выдерживал эту сорокапятиминутную каторгу. У него начисто отсутствовал музыкальный слух, и его совершенно не тянуло к фортепиано. Никто из его друзей не музицировал, а он... Через пару лет он взбунтовался, перестал садиться за пианино. И после этого Бланка Исааковна приходила только к Ольге. Сестра кончила музыкальную школу и даже училась музыке дальше, в консерватории, заочно. Но кончилось это примерно тем же. Играла она, конечно, несравненно лучше, но не настолько лучше, чтобы выступать перед гостями. Сейчас к пианино она не подходила годами. Она полностью растренировалась. Значит, и для нее многочасовое сидение за фортепиано прошло без особой пользы. Напряженная жизнь не оставляла времени для игры на фортепиано. «Пианино в доме – пережиток прошлого? – спросил себя Серафим Павлович. – Заниматься музыкой в наше время надо или серьезно, чтобы стать профессионалом, или – никак, то есть не заниматься, не убивать на это время. Сейчас столько прекрасной звуковоспроизводящей техники, что в гостях с посредственным умением никто не сядет за инструмент. Да и у кого сейчас есть пианино? Гитара – это куда еще ни шло».

Для тети Саши его взбрыкивания, а потом и откровенный бунт были ударом. Но к этому времени она переключилась на Юрия, сына тети Муси, как самого маленького и самого слабого. Двоюродного брата Серафима она водила к преподавателю скрипки, и послушание Юрия пока не стояло под вопросом. Юру тетя Саша опекала самозабвенно (он хотел сказать: «Словно это был ее ребенок», но мало кто так старался для своего ребенка, мало кто так выкладывался). И эта плотная опека в конце концов кончилась для Юрия плохо, он потерялся в самостоятельной жизни, заикнулся на вредных привычках, и все у него пошло вниз, по линии наименьшего сопротивления.

Серафим же вздохнул свободно, отвоевав возможность распоряжаться временем, которое оставалось после приготовления уроков. Сфера же приложения сил тети Саши сократилась, что ее и озадачило, и обидело. Да, поэтому в их отношениях не было настоящей сердечности. А так... А так все было нормально, все было хорошо. Тетя Саша кормила его перед школой и после возвращения из школы и из института, гладила ему брюки и рубашки, открывала ему дверь и в час ночи, и позже, когда он возвращался со свиданий. Иногда она рассказывала о себе. Что он запомнил? Что на Украине был голод, сначала после гражданской войны, а потом страшный голод после коллективизации, в первую сталинскую пятилетку, когда кулачество, главный кормилец страны и главный поставщик экспортного зерна, было ликвидировано как класс. Она тогда как раз начала учительствовать, и умерли ее самые способные ученики

и вообще повымирили целые села. Рассказывала, что у нее был брюшной тиф и как медленно шло выздоровление. О голоде на Украине ничего не говорилось в учебнике истории Советского Союза, и Серафиму показалось, что тетя сильно преувеличивает. Великие сталинские преобразования – и вдруг голод и смерть детей. Другое дело голод после гражданской войны, когда встали железные дороги и промышленность, а земля, лишенная нормального ухода, утратила былую щедрость.

Он вспомнил марку «В помощь голодающим Поволжья» из коллекции отца. На ней был изображен человек после полугодичного голода. Человек-скелет, живые мощи. После гражданской войны, в разгар разрухи голод был естественен. «Нам американская АРА (была, оказывается, такая благотворительная организация) прислала порошок какао, но крестьяне не знали, что это такое, и разводили какао в ведрах и обновляли им цоколи, а потом удивлялись, почему эта заморская краска такая нестойкая к дождю», - рассказывала тетя Саша. Она еще и еще раз сокрушалась об умерших своих учениках, самых способных, необыкновенно способных. Она сама и бабушка повыменяли на продукты все, что имели. Потом мать забрала ее в Симферополь, где было полегче. «Голод на Украине в начале тридцатых годов и митинг по поводу борща с мясом в институтской столовой, первого борща с мясом за три года учебы отца, год 1934», - сопоставлял потом факты Серафим Павлович. Все складывалось, то есть вытекало одно из другого. Но об истинных масштабах бедствия он узнал позже, когда восхождение социалистической системы уступило место ее скоротечным проводам.

О жизни тети Саши можно было сказать: ничего сладкого, одно брожение во мраке среди бед и бедствий. И ее жизнь обделила счастьем, и тетю Мусю (еще как обделила!), и тетю Агату, вдову Сигизмунда с тремя детьми. Бронзовый набат лозунгов, прославлявших отца народов и его победные дела, как-то сникал, линия рядом с судьбой тети Саши. Сама она никогда не жаловалась, но два или три раза Серафим застал слезу на ее щеке и не сумел объяснить причину. А ведь это была тоска о несбывшемся. Тетя Саша умерла в одночасье ранней весной 1961 года. У нее было больное сердце. Вызванный телеграммой из Голодной степи, Серафим Павлович приехал на день позже похорон. Сходил на кладбище, постоял над свежей могилой, уронил слезу по безвременно почившей. «Саша! Саша!» – истошно звала бабушка, порываясь встать. А как встанешь, если ноги не держат? Через семь лет бабушку похоронили с нею рядом. И давно уже их могилы не посещал никто. Последней, кто помнил, как к ним пройти, была тетя Муся.

Еще одну милую подробность вдруг вспомнил Серафим Павлович. Тетя Саша научила его вышивать, гладью и крестом, и он вышил какой-то рисунок от начала и до конца, проявив завидное терпение. Уже более трети века прошло, как оборвалась ее жизнь. Интересно, вспомнит ли кто-нибудь о нем через треть века после того, как судьба опустит за ним занавес?

Глава 10

Серафиму Павловичу приснились шахматная доска и отец, погруженный в задумчивость. Отец был молодой, сорокапятилетний, сосредоточенный. Соперника его он не различил. Очевидно, партия еще не складывалась в его пользу. Отец очень любил шахматы. Он боготворил эту игру, и журнал «Шахматы в СССР» выписывался им постоянно. Он готов был играть всегда, с кем угодно. Отдыхая в Ялте, он шел в городской парк с шахматной доской под мышкой, садился на скамейку, расставлял фигурки, приглашая, и через минуту-другую к нему кто-нибудь подсаживался. Отец научил Серафима играть, когда он учился во втором или в третьем классе. У них была складная доска на матерчатой подкладке и фигурки, привезенные из Германии. Какое-то время Серафим плакал, проигрывая. Ему становилось очень обидно, досада жгучая его разбирала. А отец смеялся и никогда не поддавался. Отец играл с ним вслепую – и тоже выигрывал. Он умел держать в памяти всю доску. Серафим же мог держать в памяти не более четверти доски. Гениальный Александр Алехин играл вслепую на 27 досках.

Серафим сыграл с отцом много тысяч партий. Из партнера слабого он в конце учебы в школе превратился в партнера интересного, чаша весов иногда склонялась и в его пользу, но не часто. Иногда ему удавались комбинации, которые ставили отца в тупик.словно минуты озарения опускались на него, он делал сильные ходы и, случалось, доводил партию до победы. Но и в институтские годы отец побеждал его чаще. Перелом наступил позже, когда отец постарел и начал сдавать. Однако и в семидесятые годы Серафим Павлович выигрывал у отца половину партий, не более.

Шахматы помогали отцу. Они словно были связаны с таинственными силами, которые управляли его судьбой. Он и отдыхал за шахматной доской, и набирался энергии – для работы. «Сыграем, пижон!» Это Серафим Павлович запомнил на всю жизнь. Так обратился к отцу некто из обывателей, баловавшихся шахматами в каком-то укромном крымском городке в далекие тридцатые годы, в благословенные годы нэпа, когда и прилавки ломались от изобилия, и деньги имели вес. Было это в летнем шахматном клубе. Серафим Павлович представил себе холеных мужчин в мешковатых белых костюмах, поглощенных игрой,

и их фаворита, партнер которого куда-то заторопился и ушел, и отца, так кстати оказавшегося рядом. Итак: «Сыграем, пижон!»

Пижон, конечно, тотчас согласился, тем более что игра шла на чай с лимоном и пирожное, а пижон не был при деньгах. Пижон был элементарно голоден. Игроки сели, сделали первые ходы. Позиция местного фаворита стала быстро портиться, потом пришла в полную негодность и рассыпалась, как картонный домик. Отец в ту пору играл в силу перворазрядника, даже кандидата в мастера. «Я где-то недоглядел, знаете ли, голова что-то отяжелела», - сказал холеный мужчина, оправдываясь. А отец невинно улыбался, пил чай с лимоном и уплетал пирожное. Здоровый румянец во всю щеку делал его улыбку особенно обаятельной. «Сейчас вы отыграетесь!» – милостиво разрешил отец. «Конечно, кто сомневается!» – воскликнула местная знаменитость.

Холеный мужчина попал под сокрушительную атаку и во второй партии, и в третьей, тоже очень скоротечной. У их столика заколготились болельщики. Посрамление фаворита стало достоянием широкой шахматной общественности. К концу пятой партии у знаменитости разламывались от боли и голова, и сердце, и живот. А отец не мог более есть пирожные и пить чай с лимоном и получал их стоимость наличными – десять копеек за выигранную партию. Можно, можно было жить в те отдаленные времена! Вскоре знаменитость ретировалась под благовидным предлогом. А отец дал сеанс одновременной игры, который повторил следующим вечером, и несколько поправил свое финансовое положение. «Сыграем, пижон!» Такое не забывается.

Если в дом приходил человек, игравший в шахматы, отец тотчас доставал доску, и начинался поединок. Конец его, чаще всего, был предопределен. Любимые присказки отца за игрой: «Тут она ему сказала: «За мной, мальчик, не гонись!» Еще: «Цап-царап!» Еще: «Умный, как химик!» И наиболее частая: «Пастушонку Пете трудно жить на свете, тонкой хворостиной управлять скотиной». В послевоенных турнирах на первенство Ташкента он два или три раза завоевывал призовое место, приносил домой призы – шахматные часы, лыжный костюм необъятных размеров. С годами его результаты стали хиреть, и в шестидесятые годы он уже не пробивался в финал. Серьезные занятия шахматами кончились, а увлечение осталось.

Последнюю партию с отцом Серафим Павлович сыграл за день до его смерти, 1 мая 1982 года. Он пришел в родительский дом с Валерией и детьми, Еленой и Петей. Ничто не предвещало несчастья. Отец сразу повлек его в свой кабинет, расставил шахматы, они сели, и первую партию Серафим Павлович быстро выиграл, а во второй отец взял реванш, тоже легко и изящно добившись решающего перевеса. Больше играть им не позволили. Вошла мать, запротестовала: «Всегда вы уединяетесь, нам без вас скучно!»

- Бабоньки сердятся! – сказал отец. – Пастушонку Пете трудно жить на свете. Что ж, не будем напрашиваться на критику.

И они поспешили в гостиную, к праздничному столу.

Серафим Павлович играл примерно в силу первого разряда. Когда лучше, когда хуже. Это был его уровень. Сыграй он еще тысячу, еще десять тысяч партий, он не мог его превзойти. Да, выше головы не прыгнешь, это уж точно. Определенного уровня он достиг и как журналист, а потом и как писатель. Коллеги его уважали, но это не был уровень экстра-класса. Его знали в Ташкенте, но не в Москве. Он научился относиться к этому спокойно. Его возможности не позволяли ему претендовать на большее. В своих книгах он выразил себя и отобразил свое окружение. Это, наверное, и было заложено в его судьбе. Это – и ничего другого. И окажись он в иной среде, более взыскательной к профессиональному мастерству, едва ли планка его возможностей заметно поползла бы вверх. Едва ли.

А в шахматы он теперь играл с друзьями, раз в две недели или еще реже. Это были быстрые шахматы: на партию каждой стороне отводилось четыре минуты. Нажал на часы – пошел, нажал – пошел. Победу можно было упустить в самый последний момент, при подавляющем преимуществе, не уложившись в положенные четыре минуты. Это подогревало эмоции. Хотя, если ты играешь с одним и тем же человеком четвертую или пятую тысячу партий, какая разница, сколько из них ты выиграл, сколько проиграл? Все это было неплохо для души.

Из детей Серафима Павловича только Алена играла в шахматы хорошо. Она играла примерно в его силу. Съездила с институтской командой в Будапешт, но там, на шахматном студенческом празднике, она была лишь одна из многих. Это задело ее самолюбие. Чтобы стать в шахматах заметной величиной, надо посвятить им жизнь, поняла она. И еще надо, чтобы в человеке был шахматный стержень. Она решила, что лучше станет хорошим врачом, и все с нею согласились. Позже, когда она уехала в Америку, она не взяла с собой ни одной шахматной книжки.

Первым, с кем подружился мальчик Серафим, был Катусек, который жил в соседнем доме и которого, как потом оказалось, зовут не Кастусь, а Игорь. Он был двумя годами старше и, возмужав, превратился в двухметрового красавца. А дальше...дальше их дороги уже никогда не пересекались. У Катуська был двоюродный брат Алик. Алик схватил обнаженный электрический провод, порванный бурей. Провод был под напряжением. Похороны пятиклассника Алика Серафим запомнил. Были слезы, и была длинная медленная процессия.

Два года Катусек и Серафим не разлучались. Они играли или во дворе Катуська, тихом и просторном, или во дворе Серафима, или на улице. Они вместе читали книги, рассматривали картинки. Они проводили вдвоем все светлое время дня. Потом, без видимых причин, их приязнь быстро пошла на убыль – и никогда уже не восстанавливалась. Не ссорились они, не сказали друг другу ничего обидного; в их возрасте ссоры недолго живут в памяти. Кто были его родители, Серафим не помнил. Скорее всего, в Ташкент они приехали из Белоруссии.

Да, в эту пору в лапту они играли. Самозабвенно, часами, до сиреневых сумерек. Команда на команду, пять на пять или четыре на четыре. Откуда ни возьмись набегало детворы: лапта, лапта! Серафим Павлович вспомнил: увлекательнейшая игра, нынче позабытая напрочь, словно и не было ее никогда, словно не воспламеняла она ребячьего бойкого воображения. Мяч (обыкновенный теннисный или просто круглый кусок каучука) послан в поле деревянной битой, и надо пробежать, пока он летит, метров 20 – 25, до линии или до столба, а команде-сопернице мячом надо завладеть и попасть в бегущего. Или надо посланный в поле мяч поймать. Тогда команды меняются местами. Возвращение к линии, от которой били, давало игроку право вновь послать мяч в поле. Промазал битой – беги. Мяч у подающего – жди, когда твой партнер по команде сделает свой удар. Побежишь, когда мяч у подающего – тот не промахнется. Бегать приходилось и той, и другой команде, но считалось почетным посылать мяч в поле. Команда, которая играла в поле, как бы отбывала наказание – маялась. Улицы, в самом широком ее месте, как раз хватало для этой игры. Потом лапту вытеснил футбол. Увлечение лаптой выпало на учебу в 5 – 6 классе. Девочек в эту игру принимали, но неохотно, ведь они уступали ребятам в проворстве.

Борис Яковлев был вторым приятелем Серафима, точнее, добрым знакомым. Его дом, обсаженный симпатичными дубами, находился на противоположной стороне улицы Буденного. Борис тоже был старше Серафима, но на год. Он обладал прекрасным глазомером. Он метко стрелял из рогатки и отменно играл в ашички. Однажды он поразил воробья налету. Это произошло за городом, у Салара, близ станции Кызыл Тукумачи. Стайка воробьев неслась им навстречу. Борис вскинул рогатку и выстрелил. И один воробей упал как подкошенный – камень угодил ему в грудь. Рогатка лет пять оттопыривала карман Бориса, потом возраст взял свое, но расстался он с этим своим оружием тяжело – словно близкого друга потерял. После школы Борис поступил в военное училище в Баку, и там с ним случилось непоправимое. На разгрузке зерна из корабельного трюма его завалило, пшеница проникла в легкие, он долго лежал в госпитале, потом его комиссовали как инвалида. Что стало с ним дальше, Серафим уже не знал. И не знал он, что стало с Катуськом. Он даже не помнил, какой Катусек окончил институт.

Когда дружба с Катуськом стала разлаживаться, Серафим потянулся к своим одноклассникам, Геннадию Козлову и Валентину Хадикову. Возможно, она и разладилась потому, что он потянулся к Валентину и Геннадию. Возможно, Катуська начали интересоваться девочки, а Серафиму еще рано было на них засматриваться. Гена Козлов уезжал на лето к матери в поселок Ломакино, за 200 километров, в совхоз, который выращивал зерно и лошадей. А Валентин никуда не уезжал, и они бегали купаться на Салар, на Комсомольское озеро, на Тал-арык, даже до реки Чирчик добирались, в те времена еще полноводной, а это два часа ходьбы по солнцепеку.

Гена Козлов жил на тихой улице Черноморской в угловом доме с виноградником, урючиной и огородом, у деда с бабушкой. Его отец, кадровый офицер, сложил голову в первый год войны. Дед его, ветеран первой мировой, был краснолицый усач с пронзительно синими глазами. Он отличался здравомыслием и неназойливой назидательностью. Бабка вела хозяйство и политикой не интересовалась. И дед, и бабушка получали пенсию, а пенсии хватало на хлеб, не более. И старики крутились, пока были силы. Откармливали свиней, кур, подрабатывали, где могли. Геннадий рос в нужде и с детских лет приучился уважать и беречь копейку. А в зрелые годы он научился копейку приумножать. У Гены плохо шел русский язык, и Серафим помогал ему. В четвертом классе они вместе готовили уроки, а потом Серафим писал с ним диктанты, и старательный Геннадий перестал хватать двойки по русскому языку.

Однажды, классе так в пятом, они засели писать книгу. Серафим диктовал, Геннадий записывал. Город Тамбов фигурировал в этом нехитром сочинении, и река Цна, город этот приютившая на своих берегах, и некий крестьянин, которому жилось плохо, потому что житие его приходилось на нехорошее царское время. Что-то наподобие «Дубровского» замышлялось, но замысел, конечно же, не был просчитан даже до середины. Это писание вскоре было брошено – скучно стало. Неинтересно. Да, высасывать из пальца надоедает быстро.

Потом к ним присоединился Валентин. Он жил в большом дворе в Буденновском переулке. Ольга Мартыновна, его мать, и три ее сестры с семьями жили по соседству, помогая друг другу. Потом уже, в семидесятые годы, со смертью мужчин – отцов семей двор этот большой пришел в запустение. Первым умер отец Валентина. Военный летчик, он был сбит над Черным морем и долго барахтался в холодной воде, пока его не подобрал наш торпедный катер. Купание не в лучшие календарные сроки принесло ему хронический плеврит, от которого не спасли даже антибиотики, редкие и дорогие в то время. Он скончался в военном госпитале году так в сорок восьмом, и Серафим помнил, что участвовал в похоронах, торжественных и многолюдных. До госпиталя отец Валентина как-то сводил их на футбольный матч, и это тоже запомнилось. Не само зрелище запомнилось, а его атрибуты: зеленое поле, людные трибуны, судья в черной форме со свистком, луженая, одна на всех, глотка болельщиков, неистово подбадривающая свою команду. Лет через пять у Валентина появился отчим, к которому он относился без предубеждений, нормально. Когда и отчим ушел из жизни, Ольгу Мартыновну стал быстро одолевает склероз, и старость ее была совершенно безрадостной. Ее смерть Валентин встретил с облегчением. Отмучилась, бедная...

«Ольга Мартыновна, какая жалость, что я не проводил вас в последний путь! – подумал Серафим Павлович. – Валентин не позвонил мне, не сообщил. Что делать! Вы были добры к нам – вы так любили своего сына! Вы были удивительно хлебосольны...»

С седьмого класса и до окончания школы – четыре года он, Геннадий и Валентин были неразлучны. У Генки во дворе они боролись и поднимали разные тяжелые железки – болванки, куски рельсов, ось от вагонетки, гантели. Больше всех преуспевал в поднятии тяжестей Геннадий, он был на год старше. Вторым шел Валентин, самый младший. Он был на год и один день младше Серафима. Серафиму хватало силенок лишь на то, чтобы замкнуть троицу, что он и делал без особого энтузиазма. Зато он шел впереди в учебе. Гена был всегда немного себе на уме, даже бравировал этим: да, я такой, жизнь заставляет меня быть таким. Валентин же был душа на распашку, открытый и откровенный, все отдаст друзьям, все для них сделает. Его искренность не знала границ. Он был, как раскрытая книга: читай и верь написанному. Но Генка был себе на уме тоже как-то очень искренне, очень чистосердечно и естественно, никого этим не обижая и не накликая на себя нареканий. Им было весело, интересно вместе.

«Гал-арык остается в детстве» – эта книга об их дружбе, нежной и прочной. «О том, что было нашей дружбой», – подумал Серафим Павлович. Потому что потом, после института, у них началась другая жизнь, взрослая, заполненная самоутверждением и семейными обязанностями, и они перестали быть нужны друг другу так, как раньше.

Валентин был красивым парнем, с особым шармом. Он брал искренностью и простотой обращения. В девятом классе он влюбился в гимнастку Аду из параллельного класса школы № 39, той самой женской школы, в которой тоже преподавала Ирина Александровна. Ада была видная девочка, отличницы и гордячка, центр притяжения в своем классе. Она, конечно, задавалась, и это ей шло. Взаимностью Валентину она не ответила, и дружба между ними не заладилась. Серафим был тогда без ума от Людмилы Ваниной из школы, в которой училась его сестра Ольга. Но он выделял и Аду. Тихо выделял, чтобы это не коснулось Валентина и не омрачило их добрых мальчишеских отношений. Валентин переживал, маялся, не спал ночей. Фантазировал, как он понравится Аде и что из этого получится. Однажды они принесли Аде две сумки книг (она изъявила желание почитать что-нибудь новенькое), чем очень ее удивили. Продолжения, однако, не последовало. И тогда Валентин начал встречаться с другой девушкой из этого же класса, Галиной, и на втором курсе института женился на ней. Двух детей они вырастили, сына Александра и дочь Ирину. Дети давно уже жили своими семьями.

Счастливы ли были Валентин в браке? Вероятно, да. В начавшейся старости супруги трогательно опекали друг друга. У Валентина, такого красавца, гусара по складу характера, были и увлечения, о которых Серафим Павлович мог только догадываться. Гала не позволяла ему разгуливаться, не позволяла и выпивать, а в остальном он был волен оставаться самим собой. Мудро, конечно, вела Галина свой семейный корабль. Верным курсом. Четверть века назад они продали свой дом на улице Сарыкульской и переехали в Подмоскowie. Первые покинули Узбекистан и возвратились в Россию. Дирижировала переездом, конечно, Галина.

Как жил Валентин, чего добился? Они трое поступали в один институт на один факультет, чтобы и дальше вместе идти по жизни – так им хотелось. Судьба, однако, распорядилась иначе. Они считали, что поступление в институт им гарантировано (их знаниями, конечно, взятки в те годы институтские приемные комиссии не знали), и более месяца проработали разнорабочими на одной маленькой стройке. Получили, помимо честно заработанных 700 рублей на нос, массу впечатлений. А тут вступительные экзамены. И Валентин, и Гена переоценили себя, недополучили по одному баллу на вступительных экзаменах, и в результате Валентин стал инженером-механиком, а Геннадий – инженером-землеустроителем. Об этом, кстати, они потом никогда не жалели. Только Серафиму, обладателю золотой медали, было гарантировано поступление на избранный факультет.

Ну, а Галина окончила текстильный институт и приносила в дом, наверное, не меньше Валентина. Она была хозяйственной женщиной, много солила, мариновала и консервировала на зиму и вообще вела дом, как положено доброй хранительнице семейного очага. В Ташкенте они жили без заметного достатка, становились на ноги медленно, но верно. На столь медленном становлении семейного достатка сказывалась, конечно, широта души Валентина. В юношестве никто из них откровенно не тянулся к деньгам и богатству, они росли в спартанской обстановке, уверовав со школьной скамьи, что не в деньгах счастье. Жизнь потом долго разубеждала их в этом.

Семья, однако, требовала своего, и постепенно у них выработался вкус к хорошей зарплате. У них были нормальные головы и руки, чтобы прилично зарабатывать. Как жил Валентин в Москве, Серафим узнал только в последний год, когда побывал в его квартире в совхозе «Московский». У Валентина была трехкомнатная квартира и все, что положено, а также машина «москвич», правда, подержанная. Галина получала пенсию и немного подрабатывала, помогая сыну, у которого наметились проблемы. Валентин, в эту пору, зарабатывал не шибко. Но им хватало. Валентин, по старой привычке к полной ясности в человеческих отношениях, раз в несколько лет выяснял отношения со своими прямыми начальниками, высказывая им без обиняков, что он о них думает, и это никогда не кончалось безобидно. Чаще всего, для него это кончалось сменой места работы. Изобретения были у Валентина, патенты, нововведения, но все это – за спасибо, за советское всем (но не Валентину!) опротивевшее «здорово живешь». Предприниматель в нем так и не проклюнулся, хотя по части всевозможных проектов он был настоящий кладезь. Галина, в этом плане, была уживчивее, мудрее.

Гена имел тело кряжистое, крепкое, налитое, но без рельефных мускулов Валентина. Он побивал Валентина в поднятии своих болванок, но проигрывал ему в ловкости, в быстроте реакции. Они любили бороться. Тут победитель определялся далеко не сразу. Пыль поднималась, падали стулья, сдвигался с места стол, уезжал в сторону диван, доставалось и шкафу, книжным полкам. Высвободиться из железных объятий Геннадия Валентину было не просто. Институт он окончил нормально, то есть без троек. Женился последний, года на два позже Серафима. Погулял в свое удовольствие. Девочек у него было много. И Лиля, тонкая, как стебелек, и Светлана, и Надежда, и еще, еще. Он все искал, все надеялся приблизиться к идеалу. Кстати, каким был его идеал, Серафим так и не спросил. Остановился он на Софье Садыковой, враче, умнице, которая быстро стала верховодить в доме. Двое дочерей родилось у них, Ирина и Татьяна, и обе стали врачами.

Старшая уехала с мужем в Минск, младшая осталась при родителях. Потом у старшей начались нелады с мужем, загулявшим на стороне, и она возвратилась в родной город, потом уехала снова. Стала главным врачом в поликлинике и вторично вышла замуж. А Гена всю жизнь проработал в одном месте, в институте «Узгипрозем», стал там ведущим инженером, главным специалистом по рисовым совхозам в Каракалпакии, очень не плохо зарабатывал. И машина у него была, и дача близ института ядерной физики под Кибраем, то есть совсем близко от Ташкента, и четырехкомнатная квартира, прекрасно меблированная. Его достаток, вероятно, превышал достаток Серафима Павловича, что последнего нисколько не уязвляло.

Софья преподавала в медицинском институте. Работать в клинике она не стала, умершие угнетали ее психику. Не все в семейной жизни у них ладилось, Геннадий два-три раза уходил из семьи, но дочери притягивали его магнитом. В конце концов, все улаживалось, утрясалось, обиды прощались, мир, добрый ли, худой, восстанавливался. В последние годы их потянуло в Россию. Обстановка в институте, где Софья преподавала, становилась все более нетерпимой для нормального человека. Коррупция переходила всякие границы. И, при непрофессионализме местных кадров, апломб до неба. На умницу Софью это давило страшно. В ней вдруг проснулся талант коммерсанта. Она съездила в Турцию, что-то продала, что-то купила – и удвоила первоначальный капитал. Это ее окрылило. Она возглавила группу челноков (языком она владела безукоризненно) и съездила еще и еще раз. Привозила каждый раз столько (имеется в виду приварок), сколько за год зарабатывала в своем институте.

Она оказалась талантливым коммерсантом. Сама не продавала ничего, все отдавала оптом в какие-то ларьки. Мужа послала в Россию, чтобы торил тропу. Геннадий ткнулся в Тамбов, не прижился, вернулся – в Ташкенте к нему относились бережливее, душевней. Намекнул супруге: от добра добра не ищут. Софья снарядила его в путь-дорожку снова. Иди и ищи нового приюта, дочерям нечего делать в мусульманском краю. Он сунулся в Калугу. Калуга показалась ему страшно провинциальной. Его пригласили в Самару, обещали дать квартиру через год. Самара его устроила. Он начал работать и готовил переезд семьи.

Ну, а встречался теперь Серафим с Геннадием и Софьей редко, два раза в год – в дни рождения. Точки соприкосновения убавлялись с каждым годом. Да, их уже не тянуло друг к другу с прежней неумной силой. Все проходит, кончается, все имеет свое начало и свой конец, и дружба – тоже. Нет дружбы вечной, нерушимой. Есть мгновенное совпадение интересов и единение чувств, которое потом уже не повторяется. Валентин Александрович жил теперь далеко, Геннадий Петрович – близко. А виделись они не часто, не часто.

«Дружба – это дерево, которое нужно постоянно холить, поливать, - подумал Серафим Павлович. – Иначе дерево перестает расти, чахнет и хиреет». Да, все проходит, изрек в библейские еще времена великий царь Соломон. Жизнь только подтверждала мудрость этого вывода. «Себя мы любим больше, чем друзей, - еще подумал Серафим Павлович по этому поводу. – Нам тоже предстоит переезд в Россию, - подумал он без связи с предыдущим. – Надо, а я противлюсь. Я готов лечь в эту землю. Но детям место в России, это однозначно. Мусульманский мир – не наш мир. Он не хуже и не лучше нашего, он совершенно другой».

Глава 12

В своей жизни Серафим Павлович и видел, и пережил немало трагедий, что, однако, не поколебало его оптимистического мировосприятия. Скорее всего, на светлое восприятие мира он был запрограммирован изначально. Судьба Муси и ее сына Юрия была одной из самых трагичных, какие он знал. Серафим Павлович не был знаком с дядей Сигизмундом, который сгинул, растворился в сталинских лагерях. Жизнь же Муси была на виду, со всеми ее бедами и травмами, с хроническим несчастьем, прервать, прекратить которое могла одна смерть. Что она и сделала в свое время.

Муся приехала к ним в Ташкент в первый год войны вместе с бабушкой. Она гостила у нее в Симферополе, и тут началась война. Вернуться в Ленинград она не успела. Она очень переживала и лишь много позже осознала, какое это было везение. Инженер-химик (она окончила московский институт химических технологий имени Менделеева), в Симферополе она осталась не у дел и приняла решение уехать подальше от войны – в Ташкент к сестре, которую любила. Она взяла с собой мать и поехала. Все нажитое было, конечно, кинуто, кроме непосредственно взятого с собой.

Как она жила в Ленинграде? Работала. Бывала у брата Алоиза, недолюбливала его жену Маргариту (интересно, за что?). За ней ухаживали, но все претензии на свою руку Мусю отвергала, а время утекало неудержимо. В Ташкенте она устроилась на стекольный завод, в лабораторию. На нее, как на немку, были гонения, были предписания в 24 часа оставить Ташкент, но она находила какие-то ответные ходы, и от нее отставали. В конце войны у нее появился близкий человек, кажется, главный инженер завода, много ее старше. Они сошлись, но о замужестве не могло быть речи. В ноябре 1945 года у Муси родились мальчишки-близнецы. Один из них умер на второй день, другой выжил и был назван Юрием. Об умершем ребенке Муся почти не вспоминала, она не успела подержать его на руках, поднести к груди.

Разница с Юрием у Серафима была в восемь лет. Естественно, росли они врозь, не спаянные общими играми и забавами. Юра пошел в школу, когда Серафим учился в восьмом классе. В год окончания Серафимом института Юра кончил восьмилетку. Дальше он учился все хуже и хуже, из-под палки учился, словно одолжение делал, но аттестат зрелости получил. А поступить никуда не смог. Тут еще умерла тетя Саша, плотно опекавшая парня, и присматривать за ним стало некому. Муся всю себя отдавала работе.

После школы Юра служил в армии, в городе Ленинске, близ космодрома Байконур. Там в те годы при запуске баллистической ракеты случился взрыв и сторели генералы и офицеры, более ста человек. Демобилизовавшись, он заново кончил десятилетку, посещая вечернюю школу. Лишь после этого с помощью курской родни, а конкретно дяди Бориса Георгиевича Михайловского Юра поступил в тамошний педагогический институт на биологический факультет. Писал оттуда, что ему интересно, что он старается, что вокруг много любезных и милых девушек.

«Слава Богу!» – сказал себе Серафим Павлович. Все последние годы у Юры было плохое окружение, всякая уличная шантрапа липла к нему. Он и покуривал, и попивал, находя приятное в безделье. Книжки его не влекли, нескончаемые поучения матери раздражали. Длительное обучение игре на скрипке, ставшее ему ненавистным, вероятно, надломило его нервную систему. Если Серафим сравнительно быстро освободился от страшной обузы – игры на фортепиано, то Юра тянул ляжку несравненно дольше. И что-то в нем надорвалось, надломилось. Скрипка испортила, исковеркала ему детство: он отбывал повинность, а она все не кончалась и не кончалась.

Итак, в Курске у Юры поначалу все шло хорошо. Он жил в семье тети, но в общежитии ему показалось лучше, и он перешел в общежитие. А там на студенческой вечеринке схлестнулся с одним парнем и, озлобившись, подогретый водкой и ненавистью, пырнул его ножом. Виноват, конечно же, был пострадавший (Муся ни на минуту не сомневалась в этом), а Юра защищал свою честь и честь одной девушки. Но ударил-то ножом он, нанеся тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни. Состоялся суд, которые определил Юрию три года отсидки. Перед судом он приехал в Ташкент, потерянный, раздавленный. Серафиму Павловичу тогда не сказали ничего. Муся помчалась в Курск с ним вместе, для нее случившееся было великим потрясением. Конечно, ничего у нее в Курске не получилось, у нее не было ни малейших способностей улаживать дела такого рода, она не знала, кому дать и сколько, и как вообще это делается. Смягчить приговор ей не удалось, Юра свое отсидел. Когда он вернулся, он уже пил

основательно и постоянно. О возобновлении учебы не могло быть и речи. Он не просыхал. Перед семьей неожиданно предстал законченный алкоголик. «Как же так? – спрашивал себя Серафим Павлович. – Когда же мы проглядели парня?» Увы, проглядели они его давно.

Ну, что с того, что один раз он сходил с ним в горы? С ним и с его друзьями-сорванцами. Юре тогда было лет шестнадцать. Они прошли по Чаткалу, перевалили на Коксу, спали на земле у костра – все честь по чести, и Юра показал себя нормально со всех сторон, как и его товарищи, бывшие соседи Серафима по улице Буденного. Позже у него не находилось времени на серьезное общение с двоюродным братом. У Юры была своя, отдельная жизнь, он пил и опускался. Он работал сварщиком на хлебозаводе. Пил портвейн, реже водку. Пил, не делая перерывов. С матерью не ладил, Муся донимала его нравами. В какой-то степени его запои были ответом на одиночество и ее нрава, нудные, нескончаемые, колкие.

- Не пей, ты погибнешь!

- Прекрати. Надоело!

Этому не было конца. С беготней, с большими хлопотами Мусе удалось получить новую квартиру у черта на куличках – на Куйлюке, две приличные комнаты с паркетными полами, с горячей водой и ванной, и она возрадовалась, надеясь, что теперь-то, вдали от своего скурвившегося окружения с улицы Буденного, вдали от буденновской шпаны и швали сын ее завяжет и поднимется. Он, конечно, не завязал, питье продолжалось, как прежде. Наезженная колея оказалась слишком глубокой. Он пропадал в тех же пивных и забегаловках близ Тезикова базара, в своем привычном окружении. И пальто с него там снимали, и пиджачок сдергивали – Муся безропотно восполняла утраты. Наконец, парня подмял под себя инфаркт. Роман «Наедине с собой» отразил это печальное событие. Серафим Павлович, навестив брата в железнодорожной больнице, понял: выкарабкается. И его действительно поставили на ноги, за месяц-полтора.

Лечащий врач сказал: «Будешь пить – второй инфаркт не заставит себя ждать. А третьего инфаркта у тебя не будет, ты никогда не был здоровяком». Юре вшили ампулу, и он не пил месяцев восемь. Муся так и вилась вокруг него, так и кудахтала, довольная. И вот тут Юре надо было жениться. Но Муся как-то по-глупому встряла в его ухаживания, внушила, что женщина, к которой он наведывался, ему не пара – и ребенок у нее, и возраст далеко не комсомольский, и высшего образования нет. Всю жизнь она очень уважала высшее образование. Она все расстроила, и Юра запил снова. И покатился под откос стремительнее прежнего. Инфаркта второго, однако, не было и не было. Словно природа давала ему время одуматься. Он же только пил. Муся уже не могла находиться с ним все время, до драки у них доходило, до ругани площадной и рукоприкладства отвратительнейшего. И вот, когда Муся ночевала у матери, Юра умер. От второго инфаркта.

Его подняли в ванной, с хладного кафельного пола. Напиться, наверное, он хотел. И тут остановилось сердце, сдавленное жгучей болью. Килограммов сорок в нем было, кожа и кости и чуть-чуть мяса, с ногтей. Муся кричала Серафиму Павловичу и Радике, Олиному мужу, которые приехали проводить покойника в последний путь: «Ненавижу вас! Вы – живые, а он... а он...»

Но похороны прошли своим чередом. Через год Муся поставила Юре памятник синего мрамора, скромный и элегантный. «Живу, сынок, памятью о тебе», - высекала она на камне. Три года она ходила на кладбище, как на работу. Через весь город ездила, часов пять-шесть тратила на дорогу в оба конца. А через три года легла в землю рядом с сыном. Тридцать семь ему было, когда он покинул сей бренный мир. Она упокоилась в семьдесят семь, наказав написать на надгробии: «Последняя из достойного поколения». Так оно и было, она ушла последняя из девяти бабушкиных детей. И пронзительно горько было ворошить ее жизнь Серафиму Павловичу.

К Мусе у него было особое отношение. Он чтит в ней праведницу, которая никогда и в мыслях не зарилась на чужое и легко расставалась со своим добром. Но он не терпел ее копания, ковыряния, выверты, непереносимые выяснения отношений: почему ты сказал это, почему ты так поступил? Человека с более скверным характером он не встречал. Ее хроническое одиночество проистекало, кончено же, от ее дурного, несносного характера. Она говорила то, что думала, а это всегда коробит людей. Она прожила в их семье лет десять, часто превращая жизнь матери в ад. «Лена, ты не положила на место иголку. Где моя иголка?» И пошло-поехало!

- Возьми, пожалуйста, мою, - кротко отвечала мать.

- Еще чего? Мне нужна моя иголка!

И это вытягивание жил, это распятие на кресте растягивалось на два-три часа. Отец терпел-терпел, потом выходил из себя, и на Мусю обрушивался залп тяжелой артиллерии.

- Муся, прекратите сейчас же! Муся, я отказываю вам в доме. Уходите, убирайтесь сейчас же! Убирайтесь, слышите?

Лишь тогда она умолкала. Серафим жалел ее. Единственный в семье, он хотя и не принимал ее сторону, но сочувствовал ей. Он понимал, что это болезнь, что Муся хотела бы, да не может быть, как все.

Впрочем, и мать очень ее любила и жалела, и тетя Саша, когда была жива. Бабушка же, до помутнения рассудка, ко всем своим детям относилась одинаково ровно. Попытки помочь Мусе выйти замуж предпринимались постоянно по крайней мере до начала шестидесятых годов. К отцу по работе приходил архитектор Земляничин, холостяк, человек, добронравный во всех отношениях. Мусе мать внушала: приоденсья, улыбайсья, приглянись! Не получилось, и потом тоже не получалось. Сама судьба обрекла ее на одиночество. Сложись у Юрия жизнь нормально, у нее тоже была бы покойная, обеспеченная старость с окружением внуков и почтительным сыновним вниманием к ее сединам. Но сын спился и угас на ее глазах, и она, при всей своей любви к нему, не смогла помешать трагедии. Осознав свое бессилие, она криком кричала: «Люди добрые, помогите!»

Увы, и люди добрые были так же бессильны. Последнего вмешательства в Юрину жизнь, когда она отвалила его от женитьбы, она себе не простила. Оставшись одна, в четырех стенах, давящих воспоминаниями, она пустила на жительство семью старшей дочери Серафима Павловича от первого брака Ирины. Ира так к ней и не привыкла, ее стремление вникнуть в каждую домашнюю мелочь и дать наставление становилось Ире поперек горла. Коля, ее муж, еще находил с ней общий язык посредством уступок и не реагирования на житейские мелочи. И только маленький Жорик ничем не перечил ворчливой и назидательной бабке, за что и был любим ею.

В последний год жизни, словно предчувствуя скорый уход, Муся написала краткие воспоминания обо всех родных – о матери и отце, сестрах Кате, Юлии, Елене, Саше, брате Алоизе и других. Серафим Павлович перепечатал ее мемуары на машинке. Получилось страничек двадцать. Она переплела текст, вклеила фотографии. И получилась хроника жизни семьи Рисслингов, написанная «последней из достойного поколения». Весьма любопытная хроника. Она послала по экземпляру Ире и Светлане, своим московским племянницам. Они были в восторге. А вскоре Муся умерла. Ее похороны Серафим Павлович отобразил в рассказе «Кладбищенские пиявки». Юре он посвятил несколько глав в повести «Наедине с собой». Жалко. Вот все, что он мог сказать. Жалость была единственной краской, окрасившей его воспоминания об этих людях. Очень жалко. Непереносимо жалко. В день смерти Муся уходила, навещала в больнице какую-то знакомую – ее и на это еще хватило. Страшно жалко.

Серафим Павлович опять и опять возвращался памятью к этому несуразному, неделикатному, предельно искреннему человеку – Марии Яковлевне Рисслинг. Не Юре ему было жалко, а ее, великомученицу. Что Юра? Несостоявшаяся, нераскрывшаяся личность. Личность, распавшаяся еще до своего созревания. Алкоголик несчастный. Но почему, за что, за чьи грехи ей выпал этот жуткий жребий? Она так стремилась взрастить в своем ребенке добрые человеческие начала! Она... Да что говорить – жалко, жалко, жалко!

Глава 13

В начале марта 1953 года на головы советских людей, как гром с ясного неба, обрушилось сообщение Совинформбюро: Иосифу Виссарионовичу Сталину плохо, у него случилось кровоизлияние в мозг, он недвижим, он может умереть. Вождь, оказывается, тоже был смертен. Страна, оторопев, издала стон ужаса и пала ниц. Оказывается, Сталин своим гением пронзил все грани жизни советского человека: и его производственную деятельность, и быт, и нравственность, даже личную жизнь. Серафим, несмотря на свой нежный возраст, уже тоже чувствовал себя за Сталиным, как за каменной стеной. В этом отношении он был как все. Он принимал вождя как данность, как неизбежность того строя, в котором жил – и, одновременно, как великое благо.

У его страны был гениальный Сталин, он вел советских людей от победы к победе. Последняя, самая громкая победа, была еще у всех на виду. Советский Союз поверг в прах гитлеровскую германию. После этого каждый год в марте снижались цены – во благо людей труда.

У репродукторов собирались толпы и внимали, затаив дыхание: что там, в кремлевской больнице? Каждый спрашивал себя: неужели? Неужели это возможно, неужели он смертен? А он лежал почти бездыханный, не приходил в сознание, не признавал соратников. Которые вождельно взирали на освободившееся место. Сообщения за подписями медицинских светил не содержали ни грана оптимизма. Вдруг траурная музыка заполонила эфир. Все радиостанции страны говорили только о великом вожде и учителе. И пятого марта вождь скончался, он так и не пришел в сознание. Кровоизлияние в мозг сделало свое черное дело. Славного, лучшего ученика и последователя Владимира Ильича Ленина не стало. Горе, горе страшное обрушилось на страну. Серафим еще никогда не терял такого дорогого человека.

Боль утраты и недоумения сдавливала грудь. Все газеты, четыремя своими полосами каждая, воспевали усопшего. На траурном митинге выступили Георгий Максимилианович Маленков, Никита Сергеевич Хрущев, Вячеслав Михайлович Молотов, Лаврентий Павлович Берия, его соратники и продолжатели его дела, но каждый – пигмей в сравнении с ним. Лаврентий Павлович в конце каждой

фразы сбивался на скороговорку, словно с горы съезжал; его грузинский акцент был очень заметен. Все четверо славословили Сталина и ссылались на Ленина. Клялись, обещали и успокаивали. Как когда-то клялся Иосиф Виссарионович над гробом Ильича – беречь, как зеницу ока, единство партии, и так далее. Да, партия была прекрасным, уникальным инструментом для достижения целей, поставленных ее лидером. Лидер мог идти практически куда хотел, и партия опекала его и славилась его, лелеяла, возносила. Серафим Павлович понял это много позже, тогда, когда увидел партию изнутри, когда стал одним из винтиков-невидимок ее громадного аппарата. Случайностей не происходило (до поры до времени), после победоносного завершения гражданской войны любые всплески недовольства и своеволия гасились в зародыше.

«Нет, во мне говорит сегодняшний человек, переваривший всю массу информации постсталинской эпохи, - сказал себе Серафим Павлович. – Тогда же все обстояло по-иному. Тогда страна рыдала у портретов в траурном крепе. Женщины падали в обморок, и их приводили в чувство холодной водой и нашатырем. У монументов вождю, которые в одночасье стали памятниками, выстраивались километровые очереди людей – их печаль была глубока и искренна. Как же теперь без него, опоры и надежды? Вот каким было общее настроение. Только тетя Юля, старшая сестра матери, бывшая тогда у них в гостях, шепнула матери на ухо: «Ушел, ушел от нас душегубец, счастье-то какое!»

Валерия, которая училась отлично, несколько своих пятерок заработала необычным способом. На вопрос учителя биологии, к примеру, кто самый выдающийся естествоиспытатель всех времен и народов, она, подняв руку, выпаливала: «Иосиф Виссарионович Сталин!» Срабатывал инстинкт – учитель пожимал плечами, но вдруг спохватывался, прерывал движение на середине, одергивал себя, широко улыбался и выщеживал: «Да-да, конечно! Ты права».

Итак, Сталина положили в Мавзолей рядом с Владимиром Ильичом, и жизнь пошла дальше своим чередом. Ничего дурного со страной не случилось. Не запаршивела она, не остановилась в своем развитии. Но в руководящем триумvirате вскоре произошли изменения. Хрущев, как руководитель партии, выдвинулся на первый план, Маленков отодвинулся на второе место, а Лаврентий Павлович Берия был объявлен врагом народа и иностранным шпионом и физически уничтожен. Имя Сталина в газетной периодике стало упоминаться все реже и реже, надежнее стало ссылаться на Ленина, и отец Серафима обратил на это внимание (на лекциях ему приходилось часто цитировать основоположников марксизма-ленинизма). Что за этим крылось, он, естественно, не знал, но к случайности эту неожиданную забывчивость больших политиков отнести не мог.

Холодком стало веять от имени Сталина, отчужденностью. Путь, которым следовала страна, все чаще называли советским и ленинским, но уже не сталинским. Мартовские снижения цен, правда, прекратились. Сталин забежал с ними несколько вперед. И народу было объявлено, что сельское хозяйство страны после нескончаемых успехов пребывает в сильно плачевном состоянии. При Сталине, как свидетельствовала официальная статистика, все отрасли народного хозяйства развивались успешно и гармонично, об отставании от Запада не могло идти и речи. Если оно и обнаруживалось в каких-либо несущественных областях, это объяснялось послевоенной разрухой и враждебностью империалистического окружения. Союз СССР – Китай оформлялся, нося антиимпериалистический характер; идея мировой революции не была сдана в архив. В европейских странах народной демократии шло брожение, причины которого скрывались, замалчивались и опять-таки списывались на происки агентов мирового империализма. Внушалось, что в странах социализма все хорошо, люди счастливы, уверены в своем будущем и об иной жизни не мечтают. Серафим во все это верил, у него не было причин сомневаться. В его стране и в его семье жизнь улучшалась. Объемы производства росли, и весьма внушительно.

Летом 1950 года, еще при Сталине, состоялась первая проба сил. О начале войны в Корее Серафим узнал в кузове грузовика, который вез его в совхоз к тете Саше (были летние каникулы). Южная Корея вероломно, без объявления войны напала на Северную, но почему-то сразу получила достойный отпор. Ее войска потерпели страшное поражение и покатались назад, к проливу, отделяющему Корейский полуостров от японских островов. В неделю пал Сеул, еще через две-три недели северокорейцы прижали агрессоров к Цусимскому проливу. Но вмешались американцы. Они двинули в помощь южнокорейцам экспедиционный корпус и мощный Тихоокеанский флот, который опирался на порты оккупированной Японии. Был высажен десант, нацеленный на Пхеньян и все сметавший на своем пути. Американская авиация захватила господство в воздухе. И северокорейцы покатались на север так же быстро, как пришли на юг. Вот позади осталась 37 параллель, разделявшая страну на две части, и вскоре северокорейцы были прижаты к китайской границе. Китайцы двинули им на помощь сотни тысяч своих войск, именуемых «китайскими добровольцами». Американцы, столкнувшись с новой реальностью, отступили. Сеул снова пал, но потом был отбит, и война, стабилизировавшись близ прежней границы, приобрела вяло текущий позиционный характер.

Ни одна из сторон больше не хотела рисковать. Американцы утюжили бомбами север страны, обратив в руины ее города. Смерть Сталина внесла в течение войны свои коррективы. О победе уже не помышляла ни та, ни другая сторона. Начались переговоры о мире. В Женеве, на совещании министров иностранных дел стран-победительниц гитлеровской Германии, было подписано перемирие. Северная Корея, начав войну по указке Сталина, не выиграла ничего, а потеряла миллионы своих граждан и должна была поднимать из пепелищ десятки своих городов. Миллиарды рублей, как понимал Серафим Павлович, были вбуханы в эту войну его страной. Ибо что могла сделать маленькая Северная Корея против могущественных Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций? На какие-то человеческие и материальные жертвы, тоже не маленькие, пошел Китай. Да, первая послевоенная проба сил не дала перевеса ни одной из сторон, и хватило благоразумия не задействовать ядерного оружия. Но гонка вооружений получила невиданное ускорение; ее последствия сказались много позже.

Лет через десять пришел в движение Вьетнам. Собственно, гражданская война не затухала на его земле после изгнания японских захватчиков. Теперь же ее пламя становилось все горячее. Французские колонизаторы были изгнаны, после сокрушительного поражения под Дьен Бьен Фу. А вскоре освободились почти все колонии Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Португалии. Национально-освободительные движения подогревались Москвой, деньги и оружие, вместе с инструкторами, текли на эти нужды широким потоком. Многоопытная Англия не стала ввязываться в вооруженную борьбу за колонии. Она сочла за благо уйти с достоинством – и сохранила экономические и все другие связи, которые делали ее влияние в бывших колониях доминирующим. Франция воевала с арабами за Алжир – и потерпела поражение, то есть ушла, изгнанная. Французам уж очень не хотелось отдавать Алжир, в котором осело много переселенцев из метрополии. И Индокитай ей не хотелось отдавать Хо Ши Мину. Вьетнам поделили пополам, заложив семена грядущих конфликтов. Дядюшка Хо был очень себе на уме в отношении Южного Вьетнама. Конечно же, Советы и Китай обещали ему всевозможную помощь.

Это был бурлящий, динамичный, плохо предсказуемый постсталинский мир. Хрущев много ездил по границам, смотрел, сопоставлял, вероятно, многому удивлялся. Сравнения были не в пользу его страны, но не поколебали его веры в правильность избранного пути. Он стал сокращать армию, перевооружая ее ракетами. В Восточном полушарии появилось первое социалистическое государство во главе с пламенным Фиделем Кастро Рус, энтузиазм и революционный пафос которого сметал любые преграды. Давно уже в мир не приходил революционер такого масштаба.

Но еще до этого, в конце пятидесятых годов, Никитя Сергеевич обвинил Сталина в организации массовых репрессий, в узурпации власти, назвав его кровавое правление культом личности. Народ с удивлением узнал, что славная ленинская гвардия была оболгана Сталиным, а потом и сжита со света. И такая же участь постигла несколько миллионов человек рангом ниже. Об огромной лагерной империи страна не была осведомлена совершенно. Люди помнили, конечно, что в войну было выявлено много врагов народа, которые и ответили за свои преступления. После войны их осталось совсем ничего, но в лагеря потекли бывшие советские военнопленные, страна встретила их своей колючей проволокой. Столяр-краснодеревщик Дмитрий Терентьевич Буркин из гидравлической лаборатории порассказал об этом немало, этому прекрасному человеку выпало побывать за колючей проволокой и у них, и у нас. Дело врачей не успело разрастись. Сталин ушел из жизни, и обвинения против врачей-евреев рассыпались за ненужностью преследовать их далее.

Хрущевский разоблачительный порыв был как атомный взрыв в обществе, к таким истинам совершенно не готовом. Страна вскрикнула от пронзительной боли. Испуганные партийные функционеры поспешили обелить Сталина. Но уже всплыла хладнокровная, обдуманная жестокость его расправы над ближайшим своим окружением, целью которой были власть и самоутверждение. История подобное уже фиксировала, но не в таких масштабах. Тысячи, миллионы невинно убиенных... Это осмысливалось тяжело, но пока не связывалось массами с ущербностью самой системы. При Ленине этого бы не случилось, он бы не позволил. Так считали все. Это успокаивало.

Довоенную историю, особенно период правления Сталина, с 1924 года и до начала Отечественной войны. Серафим Павлович представлял себе схематично: новая экономическая политика, исчерпавшая себя к тридцатым годам, индустриализация с нововведением в виде пятилеток, создание колхозов с ликвидацией кулачества как класса, принятие первой советской Конституции, подготовка к войне – выдвижение границ навстречу потенциальному противнику (пакт Риббентропа – Молотова) и, наконец, трагическое 22 июня 1941 года. Страшный, погубительный голод на Украине в начале тридцатых годов из этой схемы, в целом победной и оптимистической, конечно, выпадал, и выпадало страдание миллионов раскулаченных, а это тоже миллионы загубленных или исковерканных судеб. Трагедии эти пока еще не могли быть вынесены на всеобщее обозрение, вера в социализм мешала этому. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Это из одной популярной песни. А вот из другой: «Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности оплот! С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет!»

Сталин стоял выше всех и надо всеми. Он был единственный, он все направлял и за все отвечал. Огромная страна была в его руках. И вот – война. Почему она началась так трагически? Полторы тысячи советских боевых самолетов были сожжены и расстреляны на приграничных аэродромах утром и днем 22 июня. На войска, выдвинутые близко к границе (почему?) обрушился удар неимоверной силы. И армия, созданная для того, чтобы защищаться и давать отпор, не дала отпора, побежала, стала сдаваться в плен. Три миллиона пленных к первой военной осени! Что, у нас было мало танков, самолетов, артиллерии? Вовсе не мало. Но немецкая боевая техника была получше, а немецкие летчики и танкисты лучше знали свое дело. Такого количества пленных в ставке Гитлера не могли предположить даже самые горячие головы. Отход из Белоруссии – 300 тысяч пленных.. Сдача Киева – 600 тысяч пленных. Окружение между Брянском и Вязмой (тот же трагический сентябрь сорок первого) – еще 600 тысяч пленных. Фронт рухнул в третий раз и покатился к Москве, Харькову, Донбассу, Ростову. Ленинград уже сжимало кольцо блокады. Блокада ударила по окруженным страшным голодом и унесла в первую военную зиму более 600 тысяч жизней. Битва под Москвой, которая вылилась в первое серьезное и, главное, успешное контрнаступление, дало стране полугодовую передышку. Все лето и осень соотношение потерь советских и немецких войск было 6 : 1 и только в битве под Москвой оно опустилось до 3 : 1 и 2 : 1.

Пятитомная история Великой Отечественной войны, изданная при Хрущеве (в которой его роль в победе была сильно гипертрофирована), и двенадцатитомная, изданная при Брежневе (Серафим Павлович поглощал эти книги с необыкновенной жадностью), не анализировали причин такого ужасающего соотношения потерь. Военные историки в один голос заявляли, сто советское оружие было не хуже немецкого. И сорок третий, сорок четвертый и сорок пятый годы это показали. Та же армия, что позорно бежала в сорок первом и долго пятилась в сорок втором, отвоевывала город за городом и область за областью, совсем не ведая поражений во второй половине войны. Значит, не было умения воевать, командовать войсками, добиваться взаимодействия родов войск?

За постижение науки побеждать было уплачено очень большой кровью. На седьмой день войны немцы вошли в Минск, на двадцатый увидели перед собой Днепр. Мужики, возвратившиеся из плена, говорили о полнейшем хаосе в первые дни войны, о неразберихе, помешавшей им исполнить свой долг. Немцы наседали словно отовсюду. Советская армия училась противостоять им в ходе войны. Когда же армия научилась бороться с танками и получила полноценную авиацию, она напряглась и переломила ход войны. Немцы устали, выдохлись, а русские по-настоящему разозлились, распалились? Перед ними лежала поруганная, залитая кровью и слезами родная земля. Только когда по-настоящему прорезалась и разлилась русская ненависть к врагу, у Сталина обнаружился полководческий дар. Но 25 - 27 миллионов человеческих жизней – столько Советский Союз заплатил за победу в войне – были невосполнимой утратой. После войны рождаемость в некогда великой стране только падала и доля СССР в народонаселении мира неуклонно сокращалась, несмотря на фантастическую рождаемость в республиках Средней Азии и Закавказья. Генофонд страны был подорван. Русские женщины, придавленные интенсивностью производства и тяготами быта, рожали вяло и мало.

Плодами победы Сталин воспользовался идеально. Ничего не упустил, ни крохи из своих цепких рук не обронил. Ну, югославский маршал Тито не стал исполнителем его монаршьей воли. Ну, в Греции коммунистам не удалось удержаться у власти. А так везде, куда докатилась советская освободительная волна, торжествовала народная демократия и экономика перестраивалась на социалистический лад. Поначалу цифры экономического роста радовали, все, вроде бы, шло лучше и успешнее, чем на Западе. Стали – больше, угля – больше, газа – больше, тракторов – больше! А Запад нажимал на энергосбережение и электронику, на новые материалы и новые технологии. Запад не гнался за первыми местами в выплавке стали и добыче угля. Он уверовал в компьютеры, в цветное телевидение, в лазер – и выиграл. В итоге получилось, что ни одна социалистическая страна не обошла ведущие капиталистические по уровню жизни. По каким-то позициям – да, а особенно по числу ядерных боеголовок и их разрушительной силе, по количеству танков, ядерных подводных лодок. Но это и подкосило Советский Союз, он не выдержал сорокалетней изнурительной гонки вооружений.

Сверхвооружившись, он упал под тяжестью своих боевых доспехов. Система перестала приращиваться и исчерпала себя. И от нее пришлось отказаться. Она не вынесла испытания временем. Она не вынесла испытания жизнью ни в одной из социалистической стране. Маркс и Ленин, великие основоположники социализма научного, изложили людям свои теории до того, как социализм стал реальностью и свое слово начала говорить практика. Советское время почему-то не дало ни одного теоретика, равного основоположникам по творческому гению и силе энтузиазма. С реальным социализмом у теоретиков почему-то не ладилось. Сначала перестали идти как надо дела на селе. Сказались долговременные процессы, вызванные коллективизацией. Потом не заладилось и в городе. Экономика перестала воспринимать новшества, прогресс обтекал ее стороной. Отставание от Запада, вопреки данным лукавой статистики, накапливалось, японцы откровенно заявляли русским: «Вы отстали от нас навсегда».

Колхозы создавал Сталин, но советских ферм из них не получилось, и не получилось потому, что это не закладывалось в их генетический код. Пришлось закупать зерно в Соединенных Штатах и Канаде, Австралии и Аргентине. В России позабыли, что когда-то мировые цены на пшеницу устанавливала Нижегородская ярмарка, контролировавшая четверть мирового рынка зерна.

Если бы не большая кровь, Сталина, конечно, так бы не шельмовали. Жизнь прощает ошибки политикам любого ранга, принимая во внимание их благие намерения. Но геноцид Сталина в отношении собственного народа очень походил на смертный приговор, исполнение которого только сильно затянулось во времени. Далеко не все, однако, поминают Сталина недобрым словом. Его портреты и сегодня висят в мастерских сапожников и кабинах грузовиков. «При Сталине был порядок!» – любят вспоминать ветераны. Репрессии обошли их стороной, они ведать о них не ведали, а освободившихся из лагерей инстинктивно сторонились, как людей, которых коснулась порча и которые стали носителями этой порчи. Да, при Сталине снижались цены и легковые машины стоили дешево. А потом он умер, и ракетный бум середины шестидесятых годов перечеркнул надежды советских людей на лучшую жизнь.

Социалистическое государство бездарно проматывало национальное достояние, вкладывая его без счета в производство оружия, в противостояние со всем миром. Революционные авантюры в Азии, Африке и Латинской Америке стоили много миллиардов. И сколько этих миллиардов утекло на сторону, народу не доложили до сих пор. Ну, что мы позабыли в Эфиопии, в Анголе, в Афганистане? Задавал себе этот вопрос Серафим Павлович и не получал ответа. Первые люди страны, однако, этих вопросов себе не задавали. «Южноафриканская мотопехотная бригада, вторгшаяся в Анголу, была смята и рассеяна залпами установок «Град» и бомбовыми ударами «Мигов». Эта информация воспринималась с удовлетворением. «Знай наших!» Далековато протянулась рука Москвы. «Да, наше продвижение по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке», - писал Владимир Высоцкий.

Только в конце восьмидесятых годов выяснилось, что Сталин заглотнул слишком много: социалистический лагерь бесславно и тихо почил естественной смертью. Старческое слабоумие стало ее причиной. «Все для блага человека, все во имя человека!» Этим ханжеским лозунгом принято было поглаживать психику среднего человека. Еще бы! На его деньги верхи и делали все, что хотели. Увы, о среднем человеке верхи не помнили и не заботились. Он не простил этого верхам, и все рухнуло. Он не стал защищать коммунистическую партию, которая ему надоела. А как сложилась бы судьба СССР, если бы Сталин не наступил своим сапожком на ленинскую новую экономическую политику, не заложил в фундамент социализма столько дефектных кирпичей, если бы Хрущев, Косыгин и Брежнев провели реформы, найдя некий синтез социалистических и капиталистических начал? Ведь великий пример нэпа был у них перед глазами. Нэп в считанные годы возродил страну, разрушенную семилетней войной. Потом время было упущено, и лекарственная терапия оказалась бессильна. Потребовалось хирургическое вмешательство. Операция во времени затянулась, открывалось одно осложнение за другим. Реформы уступили место демонтажу. Как с наименьшими для общества потерями демонтировать систему, которую создавали в течение 70 лет три поколения советских людей?

Итак, Иосиф Виссарионович Сталин ушел из жизни в марте 1953 года, и Серафим, как и его сверстники, как все, кого он знал, переживал горечь невозможной утраты. Горечь невероятной, безмерной утраты. Потом... Потом новые реалии стали вытеснять старые, и через сорок с лишним лет его представление о Сталине было уже совсем другим. Хитрый, коварный, злой гений. Он оказался умнее и дальновиднее всех своих соратников, которые на публике, на сцене, под прожекторами славы выглядели привлекательнее. Увы, главные действия разворачивались за кулисами, при опущенном занавесе, вдали от зрителей. К такому противостоянию соратники по партии оказались не готовы и умолкли один за другим. Уходили они без почестей, смешанные с грязью, под проклятья вместе скорбного погребального звона. Система выполняла волю лишь одного человека и никаких вопросов не задавала, она привыкла выполнять указания. Когда ее начали демонтировать, она тоже не задавала вопросов, ведь указание о демонтаже тоже поступило сверху. Они тихо покорилась неизбежному.

Глава 14

В том мальчишеском мире, в котором рос Серафим, сила ценилась и почиталась, как главное из достоинств молодого человека. Сильный мог постоять за себя, мог взять верх, доведя дело до кулаков, и имел полное право верховодить над слабым. Да, в детстве почиталась сила физическая. Но уже в юности наравне с ней ценилась и уважалась сила нравственная, душевная, которая также давала право верховодить. Переход к иной шкале ценностей, с пометкой «интеллект» на одной из осей координат, совершался плавно, незаметно. Просто ребята все чаще стали сталкиваться с обстоятельствами, когда целесообразно было подчиняться не более сильному, а более умному и дальновидному.

Классе так в шестом-седьмом круг друзей Серафима определился уже до окончания школы. Валентин Хадиков и Геннадий Козлов замкнули его. Явного лидера у них не было, на верховную власть никто не претендовал, согласие достигалось путем совмещения интересов. Совпадение интересов и определило характер их привязанности. Вместе им было легче отстаивать свое место под солнцем. Когда они шли втроем, с ними не задирались. Нельзя сказать, чтобы до того как сложился их триумvirат, Серафим терпел неприятности от сверстников. Терпел, конечно, и как человек покладистый не часто давал сдачи. Дрался, когда на него находило или нельзя было больше терпеть. Но первый обычно не задирался и свои права кулаками не утверждал. Не потому, что был слабее (часто и это влияло на его поведение), а потому, что какое-то изначальное уважение к человеку и его правам было свойственно ему, и оно не разрешало обращаться к кулаку как средству разрешения споров. Одну из драк, с Саблиным, он запомнил. Они вышли после уроков, разъяренные, готовые к схватке. Их, конечно, подначили: давай, кто кого! Они засучили рукава и пошли друг на друга. Серафим, к своему удивлению, Саблину не уступил. Первая драка завершилась вничью, вторая, на другой день, тоже. Но у Саблина заметно поубавилось спеси, и больше они не выясняли свои отношения кулаками.

Класса так с четвертого Серафима отправляли летом в пионерский лагерь. Мать заботилась об этом – в лагере режим и прочее, прочее. Первый пионерский лагерь был на берегу речушки Карасу, где-то в поселке Луначарском или за ним. Там было голодно-вато и совсем не интересно. Раза два мать доставала путевки в лагерь авиационного завода в Акташе: горы, горный лес, ручей, свобода, костер на открытие и закрытие смены, красивые девочки, на которых приятно смотреть издали – это запомнилось. Девочке, которая провинилась в тесной дружбе с мальчиками, все отряды, выстроенные на линейке, зло кричали: «Шестирублевка! Шестирублевка!» Она почему-то не реагировала. Это тоже запомнилось. А так – никаких приключений, ничего такого, что отложилось бы на всю жизнь.

Последний раз он отдыхал в туристическом лагере в Бурчмулле, после седьмого класса. Был тяжелый поход на Чимган, через лысую гору, с напряжением, с жаждой, которую нечем утолить. На другой день было восхождение на Чимган, сравнительно быстрое и простое. Он не успел оглянуться, как оказался на вершине. Но, опять же, никаких привязанностей, никаких дружеских завязок, только знакомства на один день. Серафим возвращался домой и спешил к Валентину и Геннадию, по которым искренне тосковал. Привязанности к горам у него тогда не возникло, она пришла позже. А то, что в горном переходе, который пришелся на самый солнцепек, он шел не хуже других, не отстал и никого не подвел, ему импонировало.

Давно уже в кладовочке висел-пылился велосипед, привезенный отцом из Германии. Трофеи наших войск. Серафим не раз просил отца собрать велосипед, отец говорил: «Рано!» Потом отец пообещал: «После седьмого класса». И вот седьмой класс остался позади, пришло время выполнять обещанное. Шины за семь лет истлели, наши шины на немецкие обода не налазили. Что ж, купили наши обода, перетянули в мастерской спицы, Серафим надул камеры, смазал втулки и цепь – можно было выводить машину на улицу. Серафим, однако, дождался вечера. В свидетелях своего ученичества он не нуждался. Он вывел велосипед за руль, прошел в тупик и там, при полном безлюдии, отталкиваясь правой ногой и левую поместив на педаль, стал учиться садиться в седло, не теряя равновесия. Руль не слушался, велосипед терял остойчивость, кренился то вправо, то влево, езды не получалось, приходилось соскакивать. Как только он заносил правую ногу над седлом, велосипед заваливался. Он начинал сначала. В таких случаях он бывал выдержан и терпелив. В первые вечер он так и не научился садиться в седло. Недовольства собой он не испытывал, он продолжил и во второй вечер, и в третий.

И в третий вечер у него стало получаться. Он садился в седло, нажимал на педали, и велосипед ехал, виляя. Ага. Ага! Он доехал до перекрестка и не упал. И вскоре стал ездить вполне нормально. «Оригинал Шургофф» была марка его велосипеда. Как только он освоил велосипед, как только почувствовал себя свободно и уверенно в седле, город словно сжался, все стало близко, доступно, за час он мог съездить на другой конец города и вернуться, поездка же на базар занимала всего полчаса.

Велосипед возвысил его в глазах сверстников: появилась возможность покататься. Он не отказывал друзьям. Валентин легко освоил езду, а Гена, кажется, так и ни разу не сел на велосипед. Только – на раму, только – пассажиром. Особым шиком было отправиться вечером на улицу Першина, покрытую свежим асфальтом, и проехать ее из конца в конец раз пять – с девочкой, посаженной на раму. С Людмилой Ваниной, которая иногда соглашалась покататься. Это были счастливые минуты. Жмешь на педали, теплый ветер обтекает разгоряченное лицо, ее волосы касаются щек, и ощущения скорости, силы и молодости сливаются воедино. Да, это были прекрасные минуты.

В те годы автомобильное движение не отличалось высокой интенсивностью, и на дорогах вполне хватало места велосипедистам. Позже машин стало больше, появились проблемы. Но, однажды получив в свое распоряжение двухколесного друга, Серафим Павлович уже не расставался с ним никогда. У него и сейчас был велосипед, шестой по счету. Первый, немецкий, был украден в магазине «Динамо» на улице Карла Маркса, в его спортивной секции на втором этаже. «Ой, отсюда убрали велосипед, место

освободилось!» – воскликнул кто-то. Серафим обернулся – убрали, оказывается, его велосипед. Он кинулся вниз – поздно. Он подумал, что над ним подшутили – ничего подобного. Пришлось плестись домой и докладывать родителям о пропаже.

Второй велосипед у него украли в институте, на время лекций он оставлял его в коридоре, и кто-то воспользовался его доверчивостью. В третий раз у него увели «Турист», машину легкую и быструю, на которой он ездил на работу в гидравлическую лабораторию. Ехать приходилось на другой конец города, по Сарыкульской, по Шота Руставели. Он накатал на «Туристе» 25 тысяч километров, по двадцать в день. На работу – 30 минут, с работы – 35. Под горку утречком – в горку вечерком. «Турист» у него увели, когда он зашел в магазин. Потом у него украли велосипед на Чиланзаре, с лестничной клетки пятого этажа. Шел ремонт, и он выставил машину за дверь. Пятый велосипед продал друзьям Петя, не испросив разрешения. Теперь он ездил на шестом, и два раза велосипед выручил его, избавив от трат на такси при передаче посылок в Москву детям на скорый поезд № 5, который отходил в половине пятого утра.

Велосипед – мечта подростка, надежный друг влюбленного. Не надо бояться, что пропущен последний трамвай. Самой дальней его велосипедной прогулкой была поездка в Янгиюль: шестьдесят километров в оба конца. Он вернулся измученный и заснул. Пришла гостья, дочь друзей его родителей Быковых Ирина, его ровесница, и ушла разочарованная – он был вял, сонлив, негостеприимен. Поездки же на Чирчик удавались прекрасно, десятикилометровая дорога его не изнуряла. Загородные поля и быстрая река с редкими омутами дарили массу впечатлений. «Только старость снимет меня с велосипеда», – подумал Серафим Павлович. Но старость уже подступала, он все реже садился в седло. И уже подумывал о том, чтобы презентовать велосипед внуку.

Футбол был одним из запомнившихся и стойких детских увлечений. Серафим играл спонтанно, техника ему не давалась, он не отличался ни ловкостью, ни скоростью, ни выносливостью, ни точностью паса, и его ставили в защиту, где он хоть как-то мешал противной стороне. Валентин же и тут был на высоте, записался в секцию футбола, и его взяли вратарем в юношескую команду «Локомотива». Весной, по воскресеньям, Серафим и Гена шли на стадион болеть за друга. «Локомотив» чаще побеждал, чем проигрывал. Играли самозабвенно, с полной отдачей сил, о договорных победах или ничьих не могло идти речи, и форвардам удавались комбинации редкого изящества. Валентин, охраняя ворота, совершал прыжки акробатического блеска. Толпы мальчишек подбадривали своих против «Спартака», «Пищевика», против суворовцев из «Динамо». Но фаворитов уважали независимо от того, в чьих командах они играли.

Много позже состоялось второе возвращение Серафима в футбол. Сначала он катал мячик с Емельянцевым, Бородиным, Алимовым и с кем-то еще (Благовым, Колобовым, Горошиным) на теннисных кортах «Пахтакора», потом лет семь – восемь играл за команду красных в группе здоровья, тоже на стадионе «Пахтакор». Об этих годах остался рассказ «Красные и синие», который понравился как красным, так и синим. Тысяча игр, десять тысяч голов, и среди них один неписаной красоты: мяч попадает в штангу, отскакивает. Двигается по линии ворот, ударяется о вторую штангу и замирает, уже в воротах. Сколько пота было пролито на зеленом поле, сколько эмоций выплеснулось! Какие громкие базары поднимались! Была рука – не было, была – не было! И в сорок, и в пятьдесят лет можно стать мальчиком, надо только раздеться и выйти на футбольное поле.

Возвращение в детство и было тем могучим стимулом, который, вопреки занятости, вел их три раза в неделю в раздевалку и в любую погоду – в снег ли, в дождь, в солнцепек – на поле, далеко не всегда зеленое и приятное. Вместе сходились мастера несостоявшиеся и состоявшиеся. Берадор Абдураимов, бывший форвард «Пахтакора», не брезговал побегать с ними, попинать мяч, размять стареющие кости. И только после пятидесяти, приобретя второй земельный участок и буквально разрываясь на части между работой, дачами и домом, Серафим Павлович перестал ходить на футбол. Сразу и насовсем перестал, как отрезал. И что-то очень хорошее, дорогое ушло из его жизни – тоже насовсем, навсегда. «Вот также однажды я увижу, что не смогу больше пойти в горы, – подумал он. – И это тоже будет навсегда».

В восьмом классе началось повальное увлечение борьбой. Во дворце железнодорожников работала секция классической и вольной борьбы, которой руководил мастер спорта Марков. Отец Серафима любил французскую борьбу (теперь ее называют классической), знал приемы, ему даже доводилось побеждать известных борцов на свадьбах крымских татар – состязания борцов были обязательной их частью. Он использовал коронный свой прием – «тур де бра», или бросок через бедро. Этот прием был отработан им до блеска. Татары просили его показать этот прием. Он честно показывал, они не верили, что все происходит так просто. Случилось однажды, что поверженный татарин схватился за нож – его утихомирили. Два-три раза Серафим ходил в секцию, но быстро охладел. И бегать-разминаться было тяжело, и бороться. Занятия изнуряли его, вместо того чтобы доставлять радость.

Но четверо ребят из его класса стали отличными борцами. Это Рафик Ямбулатов по прозвищу «человек-гора» (в десятом классе он весил почти 90 килограммов), Гелий Лузинолли, Александр Колокольцев и Фома Гордеев. «Постой, Гордеева звали вовсе не Фома, – подумал Серафим Павлович. – Но

как же его звали?» Недавно он встретил человека, очень похожего на Гордеева, но не подошел к нему, потому что не мог вспомнить, как его звали. Виктор? Юрий? Геннадий? Ямбулатов и Колокольцев стали мастерами спорта. Колокольцев, бедняга, погиб в расцвете лет, получив удар в лоб чугунной крышкой газогенератора. Он варил во дворе стойки для виноградника и в избытке подал воду на карбид кальция, и ацетилен с силой выбросил крышку. А он в это время как раз наклонился над аппаратом. Трагический случай тридцатилетней уже давности. Ямбулатов стал архитектором, Лузинолли – зубным врачом. Этот стокилограммовый итальянец и сегодня реставрировал чьи-то гнилые зубы. А кем стал Гордеев?

В девятом классе Валентин записался в секцию бокса и забросил футбол. Года за два он стал перворазрядником. Мог бы подняться и выше, будь он собраннее, целеустремленнее. Будь в нем побольше спортивной злости. Но, видно, каждому свое. В конце концов он стал уделять боксу меньше времени и сил, а потом получил черепную травму и, выкарабкавшись (пришлось делать трепанацию черепа), повесил перчатки на гвоздь. Когда часто бьют по голове, даром это не проходит. Серафим и Гена ходили смотреть почти все поединки Валентина, разве что за исключением выездных. Серафим так переживал за друга, у него так частило сердце, словно он сам выступал на ринге. Валентин был боксером яркого, стремительного натиска, но к концу третьего раунда силы часто оставляли его, и тогда чаша весов клонилась в сторону соперника. Когда же Валентин напористо шел в атаку, работая правой и левой рукой, загоняя соперника в глухую защиту, зал вскакивал, неистовствуя. И часто этим сокрушительным натиском поединка завершался, останавливаемый судьей за явным преимуществом. Валентину случалось прибегать к кулачному праву и в жизни. Хамов он не жаловал и вразумлял их ударом в челюсть. Но сначала честно предупреждал, что будет бить, и будет бить больно.

Серафим любил бокс за зрелищность и чувство уверенности в себе, которое он приносил, млея над боксерскими романами Джека Лондона, месяца два посещал боксерскую секцию, обучился боксерской стойке, словом, потренировался немного, а потом сделал шаг в сторону, так ничего и не достигнув. Ему не нравилось, что его били по голове. В романе «Пики Тянь-Шаня» он описал боксерскую секцию в «Локомотиве», которой руководил еврей Зисман, классный боксер и отменный тренер. Однажды Зисман положил на трамвайной остановке двоих молодых людей, которые позволили себе над ним потешаться. Один из них громко сказал второму: «Смотри, вот жид стоит!» А второй зашелся в раскатистом смехе: «Ха-ха, жид стоит!» Зисман подошел к ним и молча положил, одного за другим. Он отбыл в Израиль одним из первых. Он был блестящим тренером, «Локомотив» выставлял сильную команду боксеров, столь же сильную, что и «Спартак», «Динамо», «Буревестник». В «Локомотиве» блистал Васильев, в «Буревестнике» – Ортенберг и Силищев, и очень хорош был Топчий.

Валентина Серафим описал в повести «Гал-арык остается в детстве» и рассказе «Быть самим собой». В чем-то описанный им Валентин походил на самого себя, а в чем-то на него, по-другому у писателей не получается. Добрый, симпатичный, иногда и колючий малый, который не умеет быть себе на уме. Который выкладывался для друзей и очень не любил оставаться один. «Спорт, физическая культура – это то, что человек должен любить всю жизнь, - подумал Серафим Павлович. – Человеку надлежит всегда быть в хорошей физической форме. Жалко, что я поздно это осознал. Я поздно осознал, что уроки физкультуры в школе важнее всех остальных».

Ташкент 1995 год